

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

**ИМПЕРСКИЙ ПОВОРОТ
В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ РОССИИ:
СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ**

Сборник обзоров и рефератов

**МОСКВА
2019**

УДК 94(470+571)
ББК 63.3(2)
И54

Серия
«История России»

**Центр социальных научно-информационных
исследований**

Отдел истории

Ответственный редактор –
кандидат исторических наук О.В. Большакова

Ответственный за выпуск –
И.Е. Эман

Имперский поворот в изучении истории России:
И54 Современная историография : сб. обзоров и рефератов /
РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед.
Отд. истории ; отв. ред. Большакова О.В. – М., 2019. –
с. 180 – (Сер.: История России).
ISBN 978-5-248-00941-1

Рассматривается международная историография Российской империи, основанная на так называемой «имперской парадигме». Особое внимание уделяется сравнительным исследованиям России как одной из империй Евразии, которая формировалась в эпоху Раннего Нового времени. Сопоставляются различные точки зрения на причины распада Российской империи в ходе Первой мировой войны и революции.

Для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов и студентов.

УДК 94(470+571)
ББК 63.3(2)

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. Россия как империя: Современный взгляд.....	5
<i>Рибер А.</i> Борьба за евразийское пограничье:	
От империй Раннего Нового времени до конца	
Первой мировой войны. (Реферат).....	19
<i>Коллманн Н.Ш.</i> Российская империя, 1450–1801. (Реферат).....	28
<i>Романелло М.П.</i> Неуловимая империя: Казань и рождение	
России, 1552–1671. (Реферат)	37
<i>Зуев А.С., Игнаткин П.С., Слугина В.А.</i> Под сень двуглавого	
орла: Инкорпорация народов Сибири в Российское	
государство в конце XVI – начале XVIII в. (Реферат).....	43
<i>Стейнвелд Ч.</i> Нити империи: Лояльность и царская власть	
в Башкирии, 1552–1917. (Реферат).....	52
Малороссы vs украинцы: Украинский вопрос в науке,	
государственной и культурной политике Российской	
империи и СССР. (Реферат).....	61
<i>Гатагова Л.С., Трепавлов В.В.</i> «Перед толпою соплеменных	
гор». Проблемные вопросы истории политики России на	
Кавказе (XVIII–XIX вв.). (Реферат).....	78
<i>Комзолова А.А.</i> Северо-Западный край в составе Российской	
империи (1772–1914). (Обзор).....	88
<i>Шейнкер Э.Р.</i> Конфессии штетла: Обращенные из иудаизма	
в имперской России, 1817–1906. (Реферат).....	95
<i>Бояновская Э.М.</i> Мир империй: Путешествие русского	
фрегата «Паллада». (Реферат).....	100
<i>Сифнеос Э.</i> Имперская Одесса: Люди, пространства,	
идентичности. (Реферат)	106
<i>Почекаев Р.Ю.</i> Губернаторы и ханы. Личностный фактор	
правовой политики Российской империи	
в Центральной Азии: XVIII – начало XX в. (Реферат)	113

<i>Кэмпбелл Й.В.</i> Знание и цели империи: Казахские посредники и российское управление в степи, 1731–1917. (Реферат).....	117
<i>Дунаева Ю.В.</i> История империи в биографиях: Государственный муж, воин, просветитель. (Обзор).....	127
<i>Большакова О.В.</i> Конец Российской империи: Современные интерпретации. (Обзор).....	150
<i>Брофи Д.Дж.</i> Уйгурская нация: Реформа и революция на российско-китайской границе. (Реферат).....	173

ПРЕДИСЛОВИЕ. РОССИЯ КАК ИМПЕРИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Одним из влиятельнейших направлений в историографии России является изучение ее как многонациональной империи в рамках так называемых «имперских исследований» (imperial studies). Это направление возникло вскоре после распада СССР, который привлек внимание исследователей к проблеме империй как одной из форм существования государства, и с тех пор активно развивалось как в нашей стране, так и за рубежом. На сегодняшний день можно говорить о международной по своему характеру историографии России как империи, языком научной коммуникации в которой является в основном английский. На английском публикуют свои работы и многие наши соотечественники [21; 32; 39]. В последнее время выходит все больше совместных публикаций отечественных и зарубежных историков на русском или английском языке [10; 37].

Интернационализации имперских исследований России в большой степени способствует журнал «Ab imperio», выходящий в Казани на двух языках (русском и английском) и аффилированный с американской Ассоциацией славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES). Его вклад в развитие новой историографии империи трудно переоценить: благодаря созданию этого журнала и деятельности его редакции была осуществлена институционализация нового подхода к изучению истории России / СССР и государств бывшего советского пространства [7].

Большую роль в развитии имперских исследований России играет издательство «Новое литературное обозрение», которое с начала 2000-х годов выпускает как отечественные, так и переводные книги, написанные в рамках «имперской парадигмы» [2; 4; 5;

11; 12 и др.]. Хотелось бы отметить качество перевода многих из этих книг, а также точность выборки издательства НЛЮ, где крайне мало случайных или «проходных» работ. Продукция НЛЮ дает представление о том, что происходит в мировой историографии, хотя и не во всей полноте, что вполне естественно.

«Имперский поворот» в мировой историографии произошел на рубеже 1980–1990-х годов в связи с возникновением широкого интереса к проблемам национализма и бурным развитием постколониальных исследований. Его обычно интерпретируют как отход от изучения национального государства и обращение к истории империй, выделяя при этом «новую имперскую историю». В отличие от «старой» истории империй, занимавшейся изучением экономики, политики и военной экспансии, «новая» ассоциируется с категориями культуры, гендера, расы. Основным аналитическим инструментом этих исследований является «имперская парадигма», подразумевающая «особый» характер империй и неприменимость к ним обычных мерок национального государства [16; 46].

В основе имперской парадигмы лежит представление об империи как о государственном образовании, которое характеризуется следующими чертами: сильной, почти абсолютной властью правителя, обширностью территории и разнообразием подвластных земель и народов, их населяющих. При этом, с одной стороны, подчеркивается неравноправный, вертикальный характер власти в империи, где центр (метрополия) безусловно доминирует над периферией, с другой – признается толерантность имперского государства, управляющего разными народами и территориями на разных условиях. «Разнообразие» является ключевым словом в описании империи, создающейся путем завоеваний и сохраняющей на присоединенных территориях присущие им формы управления, социальной организации и образа жизни.

«Имперский поворот» предложил исключительно плодотворный ракурс для рассмотрения истории России. Довольно быстро в него «вписалась» зарубежная русистика (первые серьезные работы были опубликованы в конце 1990-х годов [23; 36], а затем и отечественная историческая наука [3; 9]. Однако траектория развития этой интернациональной историографии во многих отношениях отличается от мировой.

В течение 1990-х годов термин «империя» прочно вошел в научный обиход, фактически стал обязательным, что вовсе не означает, однако, приверженности «имперской парадигме» всех без исключения исследователей Российской империи. Тем не ме-

нее с тех пор стало уже невозможным смотреть на историю России без признания многонационального и поликонфессионального характера страны.

Имперская парадигма внесла существенные коррективы в представления историков: «русоцентристский» взгляд на Россию, господствовавший долгое время в историографии, сменился «имперским», что в первую очередь означало смещение фокуса внимания с центра к периферии – окраинам обширной империи, к проблемам национальной идентичности, а также особенностям государственностроительства в «имперской ситуации». В центре внимания исследователей оказалось «прекрасное прошлое» империи, прежде всего факторы стабильности, позволявшие ей успешно на протяжении веков управлять своими многочисленными народами. В то же время большую роль в этих исследованиях играет геополитический подход, позволяющий поместить историю Российской империи в глобальный контекст.

В предлагаемом вниманию читателей сборнике представлены отечественные и зарубежные работы, отражающие в той или иной мере современное состояние исследований истории России как империи. Каждый автор видит империю по-своему, мысленно опираясь на те или иные представления и концепции и зачастую корректируя, а то и переосмысливая их. В результате возникает мозаичный, но при этом и вполне целостный портрет Империи на всем протяжении ее исторического существования, которое охватывает, согласно современным интерпретациям, период со второй половины XV в. до 1917 г. Географический охват также чрезвычайно широк, включая в себя не только традиционные для имперских исследований России западные окраины, регион Поволжья, Кавказ и Среднюю Азию, но и русско-китайское пограничье, и Русскую Америку.

Сборник выстроен в основном в хронологическом ключе (хотя некоторые работы исследуют достаточно длительные периоды), но имеет и географическую «привязку», отражая очередность и постепенность вхождения территорий в состав Российской империи.

Открывает сборник реферат на фундаментальную книгу одного из крупнейших американских историков-русистов Альфреда Рибера, посвященную сравнительной истории пяти империй Евразии (реферат подготовлен А.А. Комзоловой). Согласно принятой классификации, Россия относится к типу континентальных империй, которые существенно отличаются от «морских» европейских

империй с заокеанскими колониями. Из этой классификации и исходит Рибер, предлагая обобщающий анализ истории континентальных империй Евразии (Габсбургов, Российской, Османской, Сефевидской и Цинской) и уделяя основное внимание России. Он демонстрирует, что сущность истории Евразии составляла «борьба за окраины», которые представляли собой «оспариваемое геополитическое пространство» в условиях, когда границы между империями были подвижными и проницаемыми. Материал задает систему координат для рассмотрения России в широком общеисторическом, сравнительном контексте.

Именно в таком ключе рассматривается история становления Российской империи в монографии американской исследовательницы Нэнси Шилдс Коллманн, известного специалиста по истории России XVI–XVII вв. (реферат написан О.В. Большаковой). Автор датирует период становления империи 1450–1800 гг., что совпадает с эпохой Раннего Нового времени в современной периодизации. «Евразийская парадигма» – представление о Российской империи как составной части Евразии – особенно уместна в данном случае. В то же время Коллманн продолжает традицию изучения Степи, сложившуюся к этому времени в историографии (серьезные работы были опубликованы американскими специалистами в начале 2000-х годов [см., например: 27; 47]). Автор развивает концепцию «империи различий», разработанную Дж. Бербанк и Ф. Купером [16], согласно которой политика опоры на различия, или политика «дифференциации» по отношению к различным группам населения (балтийские немцы и сибирские охотники требовали разных к себе подходов) обеспечивала стабильность и целостность империи.

Исследование Коллманн во многом построено на отталкивании от прежних подходов, которые она считает «наследием холодной войны»: от представления об «исконном российском экспансионизме» и о том, что Россия являла собой пример «восточного деспотизма», так же как и от мессианизма теории «Москва – Третий Рим», считая их полностью несостоятельными. В книге намечаются и прослеживаются крупные тенденции в империостроительстве на территории Евразии, которые привели к формированию, кристаллизации и последующему процветанию Российской империи.

Поскольку датой рождения Российской империи все чаще считается взятие Казани Иваном Грозным, большой интерес представляет реферат на книгу американца М. Романелло (автор реферата – А.А. Комзолова). В книге показано, как «начиналась» Российская

империя, как закладывались основы имперской политики в первом «ином» регионе, вошедшем в состав Московского царства. Книга является собой пример «регионального измерения» имперской истории России, однако на основе местного материала автору удается сделать заключения об общем ходе формирования политики империи.

В соответствии с современными тенденциями автор рассматривает Российскую империю в сравнительном ключе, однако опирается не на «евразийскую парадигму», как Нэнси Коллманн, а усматривает сходства и параллели с европейскими монархиями того времени. Основной вывод Романелло о том, что «реальная» империя возникла лишь через 100 лет после завоевания Казани, заслуживает самого серьезного внимания.

Покорению Сибири в конце XVI – начале XVIII в. посвящена коллективная монография отечественных историков А.С. Зуева, П.С. Игнаткина и В.А. Слугиной (реферат подготовлен О.В. Большаковой). Сибирь этого периода явно недостаточно изучалась в зарубежной историографии, из относительно недавних и интересных работ следует упомянуть монографию В. Кивелсон [28]; отечественные специалисты внесли гораздо более существенный вклад [см., например: 13]. Авторы обширного, основательно фундированного исследования сосредоточились в основном на сфере политического воображения. В центре их внимания – не фактическая сторона завоевания Сибири, а те идеологические инструменты, которые позволяли сделать Сибирь «русской», вводя ее таким образом в пространство власти Российского государства. В книге показан имперский характер московской экспансии, которая идеологически обосновывалась как миссия, заключающаяся в расширении пределов Русского православного царства – оплота истинной веры. Особое внимание уделяется титулатуре московского государя, которому стали подчиняться князья и ханы, что давало ему императорский статус. Авторы поддерживают точку зрения, что методы присоединения и дальнейшего освоения сибирских территорий, населенных многими народностями, являлись насильственными, и это в особенности касалось ментальной сферы – введения русской терминологии и географических названий.

Во второй половине XVI в. в состав Российской империи входит Башкирия. Книга американского историка Ч. Стейнведела служит ярким примером истории одного из имперских регионов, которую он прослеживает до первых лет советской власти (реферат написан О.В. Большаковой). Авторская концепция «лояльности» позволяет рассмотреть факторы стабильности, действовавшие

в процессе постепенной инкорпорации Башкирии в систему имперского управления. Следует заметить, что изучению этого региона уделяли внимание как отечественные, так и зарубежные историки, занимавшиеся исследованием этноконфессиональной и образовательной политики в Поволжье [4; 6; 19; 26]. Книга Стейнведеля наряду с собственной концепцией предоставляет богатый фактический материал, который, однако, невозможно отразить в реферате.

В то же время на примере исследования с большим хронологическим охватом особенно заметна недостаточная проработанность истории Российской империи в целом, отсутствие логически связного «большого нарратива». В первый период своего существования Россия характеризуется как одна из «степных» евразийских империй. Затем, после того как Петр I прорубил «окно в Европу», Российская империя рассматривается автором уже как одна из типичных европейских империй. «Евразия» возвращается в повествование в начале XX в., однако рассматривается достаточно пунктирно.

Два следующих материала посвящены регионам, история вхождения которых в состав России и пребывания их в этом качестве вплоть до распада СССР весьма дискуссионна. Авторы книг, посвященных Украине и Кавказу, решают проблему научного противостояния политизированному публичному дискурсу разными способами.

«Украинский вопрос» в Российской империи – тема, к которой обратились этнографы, историки и антропологи и которая несмотря на свою политизированность получила в сборнике, отреферированном Т.Б. Уваровой, исключительно взвешенное, истинно научное освещение. В центре внимания авторов – научный дискурс XVIII–XIX вв., формирование идентичностей (этнической, религиозной, имперской), язык и языковая политика, этнонимы и топонимы (география занимает в представленных исследованиях немаловажное место). Материал демонстрирует потенциальные возможности этнографической науки в изучении империи, позволяя по-новому раскрыть многие процессы, показать развернутый спектр социальных слоев общества, конкретизировать этнолингвистические и социокультурные процессы в регионе. В то же время немалый интерес представляет и помещенная в книге статья о малоизвестной истории региона в XVII–XVIII вв., когда Украина постепенно вливалась в состав России как важная часть общеимперского проекта.

Не менее острая тема – вхождение Кавказа в состав Российской империи, и свой вклад в дискуссии вносит книга Л.С. Гатаговой и В.В. Трепавлова, в которой собраны статьи, издававшиеся авторами в предыдущие годы. В реферате, написанном И.Е. Эман, представлены хроника вхождения Грузии в состав России, история формирования административного управления Северным Кавказом и Закавказьем, сюжет о переселении адыгов в Османскую империю в ходе и после окончания Кавказской войны. Этот регион явно недостаточно изучен в зарубежной историографии [13; 22], тем ценнее материал, представленный в сборнике обширным рефератом. В данном случае для борьбы с политизированностью используется другой, традиционно исторический подход: показать, «как это было на самом деле», представить максимальное количество фактов, реконструировать «объективную» историческую картину. Его возможности, однако, достаточно ограничены, и при всех декларациях ощущается явная нехватка проблематики, которую принес с собой в историографию «имперский поворот».

Одной из центральных тем имперских исследований, наряду с формированием русской имперской идентичности, является управление империей в условиях этнического многообразия, что обуславливает особое внимание к дискурсам и практикам внутренней политики (политики русификации, этноконфессиональной политики) и проектам по культурной ассимиляции. Эти проблемы рассмотрены А.А. Комзоловой в небольшом, но очень содержательном обзоре, посвященном Северо-Западному краю, в состав которого входили современные Литва и Белоруссия. Следует отметить, что западные окраины стали одним из первых объектов исследования зарубежных историков – первопроходцем в данном случае являлся американец Т. Уикс [50]. Уже в 1990-е годы он отметил ряд особенностей политики русификации, которая, по его мнению, началась не в царствование Александра III, а гораздо раньше – после подавления Польского восстания 1863 г. Позднее к изучению этих проблем присоединились и другие историки, работы которых кратко рассмотрены А.А. Комзоловой с особым вниманием к XIX в. и новым подходам, наметившимся в историографии.

Тематически (и географически) примыкает к материалу о Северо-Западном крае реферат, написанный М.М. Минцем и посвященный проблеме обращения иудеев в христианство в Российской империи XIX в. В реферируемой им книге история обращений в западных губерниях рассматривается в нескольких измерениях: с

точки зрения политики государства, в повседневной жизни людей и в сфере конструирования этноконфессиональной идентичности.

Тема религиозности и религиозной политики давно разрабатывается в зарубежной историографии, в которой подчеркивается, что Российская империя, классифицировавшая своих подданных по вероисповедному признаку, являлась по сути «конфессиональным государством» [18; 52]. Соответственно, конфессиональная политика в империи имела прямое отношение к строительству государства и служила инструментом стабилизации в условиях религиозного многообразия. Большое внимание исследователи уделили не только православию и процессу христианизации в империи, но и исламу и обращениям в христианство и обратно, особенно на материале региона Поволжья [4; 17; 20; 25; 26; 51]. Эта историография рассматривалась в сборнике, изданном в ИНИОН несколько лет назад¹. Реферат М.М. Минца является существенным дополнением к уже изданным материалам и подчеркивает значение темы в изучении России как империи, которая характеризовалась высокой степенью религиозной толерантности.

Принято считать, что XIX век являлся не только веком национализма, но и «веком империй». Эта точка зрения подкрепляется представлениями о «первой волне глобализации», начавшейся в середине века. В книге американской исследовательницы Эдиты Бояновской рассматривается «мир империй», каким его увидел русский писатель Иван Александрович Гончаров во время своего «почти кругосветного» путешествия на фрегате «Паллада». В реферате, написанном О.В. Большаковой, подчеркивается потенциал литературоведческих исследований для понимания истории. Направление, изучающее империи на материале художественной литературы, в том числе травелогов, с применением инструментов литературоведческого анализа, действительно является перспективным, позволяя выстроить образ империи и империализма, складывавшийся на протяжении XIX–XX вв. Следует упомянуть здесь интересные работы как наших соотечественников, так и зарубежных авторов [8; 40].

Существенной частью достаточно «романтического» образа империализма, представленного в данном материале, является категория «пространства». Интерес к «пространству империи» возник уже довольно давно, причем это интерес прежде всего к его

¹ Религия и церковь в истории России: Современная историография: Сб. обзоров и реф. – М.: ИНИОН, 2016. – 210 с.

субъективному восприятию (к «имперскому воображению»). В то же время историки исследуют и вполне реальное пространство, изучая историю российской колонизации в ходе неуклонного расширения империи, осваивающей периферию [38].

В географическом воображении империя означает прежде всего «простор», причем не только сухопутный, но и, как показывают современные исследования, морской. «Морская» тема, несомненно, важна для понимания истории России (граничившей с 13 морями и двумя океанами), в том числе в рамках проблематики, связанной с империализмом, внешней политикой и формированием территорий империй, пишет в своем обзоре «За семью морями» британская исследовательница Дж. Лейкин [30, с. 632–633]. Внимание исследователей начинают привлекать Тихий и Северный Ледовитый океаны, а также Средиземноморье, в особенности Черноморский регион [24; 41]. «Морское» измерение континентальной Российской империи, вся история которой была подчинена получению доступа к незамерзающим морям, постепенно входит в круг интересов специалистов, занимающихся пространственной историей. В русле этих подходов написана книга гречанки Эвридики Сифнеос об Одессе, которую автор видит не столько южной окраиной Российской империи, сколько многонациональным портом, входившим в систему связей Средиземноморья (реферат подготовлен А.А. Комзоловой).

«Это книга ученого-космополита о космополитическом городе», – написали в редакционном предисловии друзья и коллеги, подготовившие ее к изданию после безвременной смерти автора. Эвридика Сифнеос, гречанка с российскими корнями, в своей профессии сочетала знание французской и англосаксонской исторических школ, знала и любила Черное море, изучая один из крупнейших городов на его побережье – Одессу – в течение 15 лет. Ее подход прежде всего пространственный, причем она смотрит на Одессу не с высоты птичьего полета, а с точки зрения пешехода, гуляющего по городу и знакомящегося с жизнью людей, его населяющих.

Из Средиземноморья материалы сборника переносят нас в среднеазиатские степи, пустыни и оазисы. Этот регион достаточно активно изучался зарубежными исследователями, в имперской парадигме начали работать и отечественные историки [1; 6; 15; 20; 34; 45]. Два реферата, подготовленных О.В. Большаковой, дают представление о том, как осваивалась Казахская степь, как происходило формирование системы управления ею и присоединенны-

ми к России в 1860–1880-е годы Туркестанским краем и ханствами Средней Азии. В книге Р.Ю. Почекаева, хотя и посвященной достаточно традиционной для отечественной историографии теме политической и административной истории, дается новое ее измерение – личностное. Новизна авторского подхода заключается в том, что политика Российской империи рассматривается как результат взаимодействия представителей центральной власти и местных владетелей – казахских ханов и султанов, ханов и эмиров Бухары, Хивы, Коканда.

В основе книги Йена Кэмпбелла лежит концепция знания / информации, которая была необходима для управления Казахской степью. Автор прослеживает процесс постепенного накопления знаний о Степи, подчеркивая роль как российских ученых и военных, так и «казахских посредников» в складывании представлений о регионе и о формах, какие должна принимать там «цивилизаторская миссия» империи. Работа Кэмпбелла вносит свой вклад в изучение проблемы власти / знания, которая активно разрабатывалась постколониальными исследованиями и ассоциируется с именами таких теоретиков, как М. Фуко и Э. Саид. Речь идет о влиянии ученых-востоковедов на формирование знаний о Востоке и политики по отношению к нему. Следует заметить, что проблеме «Россия / Восток» автор не уделяет специального внимания, отсылая читателя к дискуссиям начала 2000-х годов, которые, надо сказать, не увенчались каким-либо «прорывом» [42].

Как и в книге Р.Ю. Почекаева, в работе Кэмпбелла значимое место занимают представители местного населения (в данном случае представители «интеллектуальных элит») и взаимодействие с ними российских чиновников, писателей, ученых, миссионеров. Усиление внимания к «человеческому измерению» имперской истории России становится одной из важных тенденций в историографии [43].

В обзоре, написанном Ю.В. Дунаевой, анализируются биографии «людей империи»: С.Ю. Витте, барона Унгерна, епископа Иннокентия (Венямина). На материалах их биографий удастся рассмотреть такие сюжеты, как этноконфессиональная и колониальная политика первой половины XIX в., экономическое развитие России конца XIX – начала XX в., военные конфликты и, конечно, конец империи. Не менее важно географическое измерение представленных в обзоре биографий: жизненные траектории Витте и барона Унгерна переносят читателя из Тифлиса в Одессу, Киев, Санкт-Петербург, Ревель, Галицию, Забайкалье.

Биография епископа Камчатского, Курильского и Алеутского Иннокентия разворачивается в самом отдаленном регионе империи – принадлежавшей тогда России Аляске. Следует отметить, что тема Русской Америки давно уже привлекает внимание исследователей, и ее востребованность пока не иссякает [33; 37; 49]. Учитывая современные тенденции, можно предполагать дальнейшее ее изучение в рамках не только имперской, но и экоистории.

В современной отечественной и зарубежной историографии России как империи рассматриваются и анализируются такие дискуссионные до настоящего времени проблемы, как «Россия / Запад, Россия / Восток», степень уникальности российского империализма, концепция «внутренней колонизации», роль поднимающегося национализма в распаде Российской, Османской и Габсбургской империй в ходе Первой мировой войны. Этой теме посвящен обзор, подготовленный О.В. Большаковой, в котором показано разнообразие точек зрения на причины распада Российской империи. Тем не менее значение Первой мировой войны в этом процессе уже не оспаривается сегодня, речь идет скорее о разном понимании соотношения империи и национального государства – что неизбежно влияет на понимание перспектив современного развития.

Завершает сборник реферат, написанный Д.Д. Трегубовой и посвященный малоизученному региону – российско-китайскому фронтиру. В зарубежной историографии эта «контактная зона» империй вызывает растущий интерес, примером тут является книга медицинского антрополога К. Линтериса «Этнографическая чума», учитывающая как имперское измерение, так и глобальный контекст [31]. В книге, прореферированной Д.Д. Трегубовой, дается иной подход: формирование уйгурской нации рассматривается в ней в контексте истории двух стран, России и Китая. Важным моментом является отсутствие «революционного разрыва» в повествовании, половина которого посвящена советскому периоду (оставшемуся за рамками реферата).

Список литературы

1. *Васильев Д.В.* Бремя империи. Административная политика России в Центральной Азии. Вторая половина XIX в. – М.: РОССПЭН, 2018. – 638 с.
2. *Верт П.* Православие, инославие, иноверие: Очерки по истории религиозного разнообразия в Российской империи / Пер. с англ. Н. Мишаковой,

- М. Долбилова, Е. Зуевой и автора. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 280 с.
3. *Горизонтов Л.Е.* Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше (XIX – начало XX в.). – М.: Индрик, 1999. – 270 с.
 4. *Джераси Р.* Окно на Восток: Империя, ориентализм, нация и религия в России / Авторизов. пер. с англ. В. Гончарова. – М.: Новое литературное обозрение, 2013. – 548 с. – Оригинал: *Geraci R.P.* Window on the East: National and imperial identities in late tsarist Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 2001. – XIV, 389 p.
 5. *Кушко А., Таки В., Гром О.* Бессарабия в составе Российской империи. – М.: НЛЮ, 2012. – 392 с.
 6. *Любичанковский С.В.* Политика аккультурации средствами просвещения исламских подданных Российской империи: Исторический опыт Оренбургского края (середина XIX – начало XX в.). – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2018. – 264 с.
 7. Новая имперская история Северной Евразии / И. Герасимов, М. Могильнер, С. Глебов; при участии А. Семенова. – Казань: Ab Imperio, 2017. – Ч. 1: Конкурирующие проекты самоорганизации, VII–XVII вв. – 362 с.; Ч. 2: Балансирование имперской ситуации, XVIII–XX вв. – 628 с.
 8. *Проскурина В.* Мифы империи. Литература и власть в эпоху Екатерины II. – М.: НЛЮ, 2006. – 322 с.
 9. *Ремнев А.В.* Россия Дальнего Востока: Имперская география власти XIX – начала XX века. – Омск: Издательство Омского государственного университета, 2004. – 552 с.
 10. *Сартори П., Шаблей П.* Эксперименты империи: Адат, шариат и производство знаний в Казахской степи. – М.: Новое литературное обозрение, 2019. – 280 с.
 11. Северный Кавказ в составе Российской империи. – М: НЛЮ, 2007. – 460 с.
 12. Сибирь в составе Российской империи. – М.: НЛЮ, 2007. – 362 с.
 13. *Breyfogle N.B.* Heretics and colonizers: Forging Russia's empire in the south Caucasus. – Ithaca: Cornell univ. press, 2005. – XVII, 347 p.
 14. *Brisku A.* Political reform in the Ottoman and Russian empires: a comparative approach. – L.; N.Y.: Bloomsbury Academic, an Imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2017. – VI, 266 p.
 15. *Brower D.* Turkestan and the fate of the Russian empire. – N.Y.: Routledge Curzon, 2003. – XXIV, 213 p.
 16. *Burbank J., Cooper F.* Empires in world history: Power and the politics of difference. – Princeton: Princeton univ. press, 2010. – XIV, 511 p.
 17. *Campbell E.* The Muslim question and Russian imperial governance. – Bloomington: Indiana univ. press, 2015. – XI, 298 p.
 18. *Crews R.D.* For prophet and tsar: Islam and empire in Russia and Central Asia. – Cambridge: Harvard univ. press, 2006. – 463 p.
 19. *Dowler W.* The classroom and empire: The politics of schooling Russia's Eastern nationalities, 1860–1917. – Montreal: McGill-Queen's univ. press, 2001. – XIV, 296 p.
 20. *Frank A.J.* Bukhara and the Muslims of Russia: Sufism, education, and the paradox of Islamic prestige. – Leiden: Brill, 2012. – VI, 215 p.

21. *Glebov S.* From empire to Eurasia: politics, scholarship and ideology in Russian Eurasianism, 1920 s–1930 s. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2017. – VIII, 237 p.
22. *Jersild A.* Orientalism and empire: North Caucasus mountain peoples and the Georgian frontier, 1845–1917. – Montreal: McGill univ. press, 2002. – XI, 253 p.
23. *Imperial Russia: New histories for the empire* / Ed. by Burbank J., Ransel D.L. – Bloomington, 1998. – XXXIII, 359 p.
24. *Jones R.T.* Empire of extinction: Russians and the North Pacific's strange beasts of the sea, 1741–1867. – Oxford: Oxford univ. press, 2014. – 310 p.
25. *Kane E.* Russian hajj: empire and the pilgrimage to Mecca. – Ithaca: Cornell univ. press, 2015. – XIV, 241 p.
26. *Kefeli A.* Becoming Muslim in imperial Russia: Conversion, apostasy, and literacy. – Ithaca: Cornell univ. press, 2014. – X, 289 p.
27. *Khodarkovsky M.* Russia's steppe frontier: The making of a colonial empire, 1500–1800. – Bloomington: Indiana univ. press, 2002. – XII, 290 p.
28. *Kivelson V.* Cartographies of tsardom: The land and its meanings in seventeenth-century Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 2006. – XIV, 263 p.
29. *Kozelsky M.* Christianizing Crimea: Shaping sacred space in the Russian empire and beyond. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – XI, 270 p.
30. *Leikin J.* Across the seven seas: Is Russian maritime history more than regional history? // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history*. – Bloomington, 2016. – Vol. 17, N 3. – P. 631–646.
31. *Lynteris Chr.* Ethnographic plague: Configuring disease on the Chinese-Russian frontier. – L.: Palgrave Macmillan, 2016. – XIX, 199 p.
32. *Maierova O.* From the shadow of empire: Defining the Russian nation through cultural mythology, 1855–1870. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2010. – 277 p.
33. *Miller G.A.* Kodiak Kreol: Communities of empire in early Russian America. – Ithaca: Cornell univ. press, 2010. – XXI, 216 p.
34. *Morrison A.S.* Russian rule in Samarkand, 1868–1910: A comparison with British India. – Oxford: Oxford univ. press, 2008. – XXX, 364 p.
35. *Of religion and empire: Missions, conversion, and tolerance in tsarist Russia* / Ed. by Geraci R.P., Khodarkovsky M. – Ithaca: Cornell univ. press, 2001. – VI, 356 p.
36. *Orientalism and empire in Russia* / Ed. by David-Fox M., Holquist P., Martin M. – Bloomington: Slavica publishers, 2006. – 363 p.
37. *Owens K.N., Petrov A.Yu.* Empire maker: Aleksandr Baranov and Russian colonial expansion into Alaska and Northern California. – Seattle: Univ. of Washington press, 2015. – XIII, 341 p.
38. *Peopling the Russian periphery: Borderland colonization in Eurasian history* / Ed. by Breyfogle N., Schrader A., Sunderland W. – N.Y., 2007. – XVI, 288 p.
39. *Pravilova E.A.* A public empire: Property and the quest for the common good in imperial Russia. – Princeton: Princeton univ. press, 2014. – IX, 435 p.
40. *Ram H.* The imperial sublime: A Russian poetics of empire. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2003. – X, 307 p.
41. *Roberts A.* Migration and disease in the Black Sea region: Ottoman-Russian relations in the late eighteenth and early nineteenth centuries. – L.; N.Y.: Bloomsbury Academic, 2016. – 281 p.

42. Russia's Orient: Imperial borderlands and peoples, 1700–1917 / Ed. by Brower D.R., Lazzarini E.J. – Bloomington: Indiana univ. press, 1997. – XX, 339 p.
43. Russia's people of empire: Life stories from Eurasia, 1500 to the present / Ed. by Norris S.M., Sunderland W. – Bloomington: Indiana univ. press, 2012. – XV, 365 p.
44. Russian empire: Space, people, power / Ed. by Burbank J., von Hagen M., Remnev A. – Bloomington: Indiana univ. press, 2007. – XII, 538 p.
45. *Sahadeo J.* Russian colonial society in Tashkent, 1865–1923. – Bloomington: Indiana univ. press, 2007. – X, 316 p.
46. *Stoler A.L.* Duress: imperial durabilities in our times. – Durham: Duke univ. press, 2016. – XII, 436 p.
47. *Sunderland W.* Taming the wild field: Colonization and empire on the Russian steppe. – Ithaca: Cornell univ. press, 2004. – XV, 239 p.
48. *Tuna M.* Imperial Russia's Muslims: Islam, empire and European modernity, 1788–1914. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2015. – XIV, 277 p.
49. *Vinkovetsky I.* Russian America: An overseas colony of a continental empire, 1804–1867. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2011. – XIII, 258 p.
50. *Weeks T.* Nation and state in late imperial Russia: Nationalism and russification on the Western frontier, 1863–1914. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1996. – XIII, 297 p.
51. *Werth P.W.* At the margins of orthodoxy: Mission, governance, and confessional politics in Russia's Volga-Kama region, 1827–1905. – Ithaca: Cornell univ. press, 2002. – X, 275 p.
52. *Werth P.* The tsar's foreign faiths: Toleration and the fate of religious freedom in imperial Russia. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2014. – XVI, 288 p.

О.В. Большакова

Рибер А.

**БОРЬБА ЗА ЕВРАЗИЙСКОЕ ПОГРАНИЧЬЕ:
ОТ ИМПЕРИЙ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ
ДО КОНЦА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(Реферат)**

Rieber Alfred J.

The struggle for the Eurasian borderlands: From the rise of Early modern empires to the end of the First World war. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2014. – X, 640 p.

В монографии Альфреда Дж. Рибера (Центральный европейский университет, Будапешт) предпринята попытка дать определение тому сложному историческому процессу, который обусловил крупнейшие кризисы XX в., – две мировые и холодную войны. По мнению автора, борьба в Евразии за территории и ресурсы происходила на двух уровнях: сверху – между соперничавшими между собой империями, особенно в период формирования государств, а также снизу – между центрами власти и подчиненными народами. В качестве главных «игроков» в сфере государственного строительства в Евразии обозначены Австрия, Турция, Россия, Иран и Китай. Хотя задачей книги является изучение всех этих империй в широкой «транснациональной» перспективе, Рибер, известный специалист по российской истории, акцентирует внимание на сопоставлении России с ее основными соперниками на западном и южном направлениях – с Австрией и Турцией, оставляя Иран и Китай на втором плане своего исследования. Своего рода исходной точкой всей работы является желание автора объ-

яснить тот феномен, что, за исключением войн, связанных с объединением Италии и Германии, в период от Венского конгресса 1815 г. и до середины XX в. войны в Европе и Азии преимущественно начинались в евразийском пограничье, на периферии континентальных империй, причем Российская империя прямо или опосредованно была вовлечена в большинство этих конфликтов (с. 1–2).

Книга состоит из введения, шести глав и заключения. В первой главе («Имперское пространство») автор, отмечая «текучесть» географических концептов «границ» и «пограничья», определяет собственный подход к проблеме как «геокультурный». Противопоставляя его двум другим «широко принятым» теоретическим подходам – геополитическому и цивилизационному (которые он называет «детерминистскими» и «политически нагруженными»), Рибер тем самым стремится избежать идеологически обусловленных предубеждений в отношении исторической роли России в Евразии (с. 6–7). Благодаря выбранному им подходу, по мнению автора, возможно рассматривать евразийские пограничные территории как «оспариваемое геокультурное пространство», которое, не будучи ни географически детерминированным, ни полностью «воображаемым», тем не менее постоянно наделялось идеологическими смыслами. По убеждению автора, «геокультурный» подход также позволяет поместить вопрос об экспансии России в Евразии в иной контекст, представляя эту экспансию как «продукт многовековой борьбы между соперничавшими империями» (с. 8).

Особое внимание автор уделяет понятию «пограничье» (borderlands) в контексте борьбы за культурную и политическую идентичность Евразии. Согласно его определению, это приграничные территории на периферии мультикультурных государств, которые были инкорпорированы в имперскую систему как отдельные административные единицы, зачастую с автономными институтами, соответствовавшими их культурным и политическим особенностям (с. 59). Границы в этом пространстве можно рассматривать в двух измерениях: это внутренняя культурная граница по отношению к центру государственной власти, но это и внешняя военная граница, по своей сути нестабильная, которая обращена к территориям, оспаривавшимся другими державами.

Сам термин «пограничье» имплицитно предполагает наличие ядра. Парадоксально, но значительно труднее дать адекватное пространственное определение ядру, чем собственно пограничью,

пишет Рибер. В соответствии с геокультурным подходом он определяет ядро как место, сформировавшееся благодаря осуществлению и символическому проявлению власти. Главные компоненты ядра – правитель, суд, армейское командование, административный аппарат, а также местопребывание правящей элиты (с. 59–60). По мнению автора, лучше всего иллюстрирует сложность выделения ядра феномен перемещавшихся столиц (например, из Праги в Вену, из Москвы в С.-Петербург, из Нанкина в Пекин, из Эдирне в Константинополь и т.д.). Выбор места для евразийских столиц в большей или меньшей степени был обусловлен источниками внешней угрозы и степенью удаленности от государственной границы. На начальных стадиях формирования империй центры власти, как правило, были более или менее культурно и этнолингвистически гомогенными. Однако по мере расширения евразийских империй их столицы не только становились более космополитическими, но и могли утрачивать свою символическую «центральность» или даже монополию на власть (с. 60). Например, в империи Габсбургов после 1867 г. Будапешт претендовал на роль центра власти вместо Вены. В империи Романовых существовало культурное соперничество между С.-Петербургом и Москвой, которая стремилась выразить «истинный дух» России.

По включении пограничья в состав мультикультурного государства борьба за контроль над территориями сменялась формированием сложных, комплексных отношений между покоренными народами и центром имперской власти. В широком спектре таких отношений автор выделяет два основных типа – приспособление (*assomodation*) и сопротивление. По мнению Рибера, анализ отношений между покоренными народами и центром имперской власти предполагает учет различных исторических обстоятельств. Выделяются следующие факторы: характер и длительность завоевания; в какой мере этническая группа была разделена военной границей; культурная дистанция между периферией и ядром в вопросах языка, этничности, религии и форм организации общества; значение внешнего давления или интервенции со стороны других держав; влияние диаспор завоеванного народа; уровни коллективного сознания завоеванного народа, сформированного на основе прежних традиций государственности; наконец, культурная политика правящих элит (с. 64). Подчеркивается сложность процесса формирования групповых идентичностей. По сравнению с Западной Европой, в Евразии идентификация той или иной группы с определенной нацией, а тем более с нацией-государством, являлась относительно поздним феноменом, а во многих случаях не завершенным и в начале XXI в.

Отношения между центрами власти и окраинами были весьма динамичными: уступки могли сменяться репрессиями, а в ответ могло последовать и вооруженное восстание, и пассивное принятие или даже попытки сотрудничества с властями. Как приспособление, так и сопротивление принимали различные формы в зависимости от региона и эпохи. Так, приспособление могло быть добровольным или вынужденным. Также оно могло оказаться более показным, чем реальным и в конечном итоге направленным в большей степени на подрыв основ империи, чем на их поддержку. Наиболее распространенной и взаимовыгодной практикой приспособления была социальная кооптация местных элит благодаря признанию за ними прав дворянства. Такая кооптация призвана была ослабить потенциальную оппозицию имперскому управлению, хотя эта стратегия далеко не всегда оказывалась успешной. Элиты завоеванных народов, выбирая путь приспособления, не только стремились к получению привилегий и карьерному росту, но также зачастую верили в то, что в противном случае их ожидала худшая альтернатива, возможно, более жесткое управление другого «хозяина». Поэтому, как отмечает автор, накануне Первой мировой войны большая часть местных элит евразийского пограничья не выражала активного стремления к независимости. В Австрийской, Российской и Османской империях добровольный переход в государственную религию, наряду с владением доминирующим языком, являлся высшей формой интеграции в период, предшествовавший приходу национализма.

Вторая глава посвящена эволюции имперских идеологий и культурных практик, которые были направлены на то, чтобы, связав воедино как различные культурные традиции, так и социальные группы, укрепить политический и военный контроль над окраинными территориями. Рибер выделяет четыре основные идеологические «опоры», в целом составившие «имперскую культурную систему»: представление о божественном происхождении правящей династии; миф об основании государства (частично созданный на основе древних памятников – хроник, эпосов и т.п., частично домысленный интеллектуалами, обслуживавшими государственные интересы); культурные практики, введенные для прославления власти правителя и, одновременно, запугивания подданных, а также иностранных соперников; символическое представление о пограничье как о неотъемлемой характеристике имперской власти (с. 79). Подчеркивается роль дворцовых и публичных церемониалов, ритуалов, парадов и т.п. в сокращении символической дис-

танции между тронem и простым народом, с одной стороны, и правителем и элитами – с другой. Также отмечаются усилия власти организовывать и контролировать общественное пространство с помощью градостроительных проектов, архитектурного дизайна и монументального искусства.

Указывая как на изменчивость практик, так и на гибкость имперской идеологии в целом, Рибер пытается вскрыть противоречия внутри «имперских культурных систем». Такие противоречия возникали прежде всего между традиционными сакрально-мифологическими представлениями о природе власти и более современными и универсальными принципами организации управления, обусловленными рационально-научным мышлением и зачастую являвшимися западными заимствованиями. Потенциальную угрозу для династических идей представляли также националистические и патриотические чувства, проявлявшиеся и в центре, и на окраинах (с. 82).

Особое внимание Рибер уделяет заимствованию идей в среде интеллектуалов евразийских империй в XIX в. Пангерманизм, панславизм и панисламизм или пантюркизм, не получив официального признания имперских властей, тем не менее в большей или меньшей мере имели влияние внутри правящей элиты. Автор предлагает проводить различия между этими «трансцендентными идеологиями» на основании их религиозных или расовых компонентов. В то время как идея пангерманизма была преимущественно расовой и антисемитской, в панисламизме присутствовала наиболее сильная религиозная составляющая. Панславизм в российском его варианте сочетал религиозный (православный), национальный (великороссийский) и расовый (славянский) элементы в различных комбинациях (с. 162). По мнению автора, после распада империй имел место переходный период, для которого был характерен трансфер прошлых, но десакрализированных идеологий. В это время новые национальные лидеры, отказавшись от идеи божественной наследственной власти, тем не менее применяли техники «национализации», использовавшие их имперскими предшественниками для управления сложным по этническому составу населением.

Если идеология была подмостками мультикультурных империй, то, по образному выражению Рибера, армия и бюрократия представляли собой их стены и крышу. В третьей главе рассматриваются институциональные основы имперской власти – армия, централизованная профессиональная бюрократия и правящая элита.

Анализируя роль армии в скреплении евразийских империй, автор отмечает, что постоянная борьба за пространные границы империй оказывала влияние на структуру их вооруженных сил, периодически вызывая потребность в военных реформах. Этнический состав высшего эшелона армии и бюрократии, а также правящих элит в целом отражал мультикультурный характер имперского управления, обусловленный кооптацией местных элит завоеванных территорий. Признавая роль так называемых «военных революций» как определенных «рывков» (spurts) в продолжительном процессе строительства евразийских государств, автор указывает на постоянные заимствования военных технологий и новшеств в сферах военной тактики, подготовки и организации между евразийскими державами. По его мнению, значение прямых заимствований военно-технических инноваций с Запада преувеличивается историками. Следует обращать больше внимания на роль России и Турции как своего рода «фильтров», необходимых для распространения этих заимствований на пространстве Евразии (с. 290).

Рибер также подчеркивает значение «недооцененной гибкости имперского управления», которая подразумевала определенные договоренности и уступки местным элитам, обеспечивавшие стабильность на пограничных территориях (с. 168). По мнению автора, политика, направленная на централизацию, не была ключевым фактором в государственном строительстве евразийских империй. Сами размеры и разнообразие империй, наряду с постоянной необходимостью защищать и удерживать военные границы, вынуждали правителей предоставлять окраинам административную автономию. Вместе с тем он полагает, что к концу XVIII в. сравнительно большая институциональная централизация и «рационализация» позволили Российской империи получить «критическое преимущество» над своими соперниками в войнах за пограничные территории Евразии. Об этом зачастую забывается, поскольку историки при сравнительном анализе склонны применять иной стандарт, сопоставляя Россию с державами Запада (чтобы подвести к заключению, что процесс «рационализации» в России не зашел достаточно далеко). Вместе с тем проблема военных, административных и финансовых реформ, проводившихся в евразийских империях «сверху» силами просвещенной бюрократии, заключалась не только и не столько во внутренней оппозиции этим реформам со стороны представителей правящих элит, опасавшихся, что изменения могут подорвать их власть и влияние. Еще большим вызовом являлась необходимость адаптировать и внедрять в свои

реформаторские проекты западные идеи. В итоге евразийским бюрократиям приходилось постоянно отвечать на неразрешимый вопрос: как обосновать реформы, которые по своей сути были «культурно подрывными» в отношении имперского управления (с. 291–292).

Четвертая глава посвящена изучению пространства Евразии как места «пограничных встреч» империй. Евразийские империи – это государства с завоеванными территориями, изменчивыми границами и окраинами с незавершенной ассимиляцией местного населения, и их «встречи» неизбежно сопровождались различными конфликтами. Внутри пограничного пространства Евразии автор выделил семь регионов, которые, по его мнению, имели собственные ярко выраженные геокультурные «профили». В числе таких комплексных пограничных территорий, которые и после их включения в состав империй продолжали оставаться зонами внешних и внутренних конфликтов, – Прибалтика, Западные Балканы, Дунайское пограничье, Понтийская (Причерноморско-Каспийская) степь, Кавказ, регион Прикаспия, Внутренняя Азия (в российской традиции – Центральная Азия; в ее состав входили северные регионы Китая, восточная часть Средней Азии, Внутренняя Монголия, Алтай, Забайкалье. – *Прим. ред.*). Основное внимание уделяется экспансии России в каждой из выделенных пограничных территорий, а также формированию ее «гегемонии» в целом в Евразии вплоть до начала XX в. на фоне ослабления соперников – Турции, Ирана и Китая. Успехи России в ее борьбе за евразийское пограничье автор связывает с такими важными факторами, как создание при Петре I и последующее укрепление централизованного государства, которое оказалось в состоянии мобилизовать на военные цели большие человеческие и материальные ресурсы; достаточно плодотворная политика кооптации местных элит в сочетании с усиленной колонизацией южных и восточных окраин; а также «реформаторская традиция» российской правящей элиты, которая позволяла производить институциональную перестройку в ответ на внутренние и внешние вызовы.

В пятой главе рассматриваются конфликты, которые возникли вследствие внутренних противоречий, характерных для имперского управления. Эти противоречия нашли свое выражение в конституционных кризисах, которые почти одновременно потрясли пять евразийских империй в 1905–1911 гг. и предшествовали «коллапсу» имперской власти впоследствии, в период с 1917 по 1923 г. По мнению Рибера, все кризисы объединяют общие харак-

теристики, такие, как, например, рост социалистического и националистического движений на окраинах или давление со стороны западных держав. Едва ли не главным фактором в распространении кризисных явлений на пространстве Евразии автор считает революцию 1905 г. в Российской империи. В числе причин называются «проницаемые» границы с другими государствами, активная внешняя политика России в евразийском пограничье, а также влияние российского революционного движения, широко распространившегося за границей (с. 424).

Шестая глава посвящена проблеме исторического наследия евразийских империй. Подробно исследуются те элементы институциональных, идеологических и культурных структур и практик, которые сохранились и после крушения империй. Новые элиты не только сталкивались на приграничных землях с проблемами, схожими с теми, которые ранее стояли перед правителями империй, но и пытались их разрешить, зачастую прибегая к прежним средствам, таким, например, как ассимиляция населения. Большое значение Рибер придает изменениям демографической ситуации на окраинах под воздействием массовых передвижений населения (прежде всего в форме насильственных выселений, депортаций, репатриаций), происходивших в период с 1914 по 1923 г. К 1917 г. только в одной Российской империи количество беженцев, по приблизительным оценкам, составляло около 6 млн человек, включая депортированных немцев и евреев (с. 534). В Австро-Венгрии во время Первой мировой войны насильственным переселением из пограничных территорий были подвергнуты русины и итальянцы. В Османской империи гибель более миллиона человек и появление 250 тыс. беженцев стали результатом решения о массовой депортации армянского населения из Западной Анатолии и с южного побережья Черного моря (с. 536). Автор также отмечает неоднозначное влияние, которое оказала послевоенная репатриация беженцев на развитие национального сознания в новых государствах.

Вместе с тем, как подчеркивает Рибер, новые государства, появившиеся на месте распавшихся евразийских империй, хотя во многих отношениях являлись «миниатюрными версиями своих имперских предшественников», имели существенные отличия от империй (с. 533). Прежде всего, оставаясь многонациональными, они управлялись представителями единственных доминирующих этнических групп. При этом от этнических меньшинств требовалось приобщение к единой «нации» в значительно большей степе-

ни, чем это было при имперских властях, проводивших или более гибкую, или менее последовательную национальную политику. В целом новые элиты взяли курс на уничтожение всех уступок в отношении культурного разнообразия пограничья, принятых при имперском управлении. При этом в процессе строительства новых государств (за исключением Советского Союза) ведущую роль начали играть вооруженные силы, созданные из фрагментов бывших имперских армий и местных вооруженных формирований.

Подводя итоги, Рибер отмечает, что после крушения империй остался неразрешенным ряд проблем, связанных с границами и окраинными территориями. Уже к началу 1930-х годов гитлеровская Германия и милитаристская Япония, пользуясь слабой легитимностью и нестабильностью государств, возникших на месте прежних империй, возобновили борьбу за евразийское пограничье, стремясь навязать новый мировой порядок.

А.А. Комзолова

Коллманн Н.Ш.
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, 1450–1801
(Реферат)

Kollmann N.Sh.
The Russian empire, 1450–1801. – N.Y.:
Oxford univ. press, 2017. – XIV, 497 p.

Фундаментальная монография профессора Стэнфордского университета Нэнси Шилдс Коллманн посвящена становлению Российской империи в эпоху Раннего Нового времени, границы которого она определяет в пределах 1450–1801 гг. Автор принадлежит к так называемой Гарвардской школе историков-русистов, ассоциирующейся с именем Эдварда Кинана. Своему учителю Коллманн и посвятила книгу, отметив в предисловии, что именно он учил ее видеть историю России в евразийском, имперском контексте, не замыкаясь в узких рамках национального государства и обращая внимание на культурное и национальное разнообразие империи. Большую роль в ее «евразийском» взгляде на историю России сыграло участие в семинаре «Империи Евразии», действующем в Стэнфордском университете. Коллманн нашла там дополнительное подтверждение идее, что Россия является одной из империй Евразии (с. VII–VIII).

Автор использует широкий сравнительный подход, считая Российскую империю одной из типичных континентальных империй Раннего Нового времени, наряду с Османской, Сефевидской, Могольской и империей Цин, которые возникли на обломках империи Чингисхана и опирались на ее наследие. Начиная с XV в. все эти империи постепенно устанавливали свой контроль

над огромной евразийской Степью (этот период Коллманн считает поворотным в истории континента). Евразийские империи, пишет она, были сходны по своей структуре, и на всем пространстве от Венгрии до Китая наблюдались общие стратегии управления и типичная имперская идеология. По мнению Коллманн, крайне полезной для анализа в данном случае является модель «империи различий» Ф. Купера и Дж. Бербанк, согласно которой управление исходит из центра, однако не вторгается в такие сферы, как язык, этничность и религия подданных, обитающих на присоединяемых территориях. Сохраненные в неприкосновенности, они служат своего рода «якорями» империи, поддерживая социальную стабильность (с. 2).

По словам автора, Российская империя, по территории которой проходил соединяющий Запад и Восток Великий шелковый путь (с его ответвлениями, соединяющими Север и Юг), в географическом отношении находилась на пересечении «геологической и исторической триады»: северных лесов, Степи и «цивилизованных» южных регионов Средиземноморья и его периферии. Большую роль в соединении богатых ресурсами северных территорий с Югом и Востоком играли речные пути, и именно на торговом пути в Византию, на берегах Днепра и возникло в IX в. государство Русь с центром в Киеве. Затем, «в типичной для средневековых государственных образований манере», оно распалось на множество княжеств – в немалой степени в связи с изменением торговых маршрутов. Возвысившееся к XV в. Московское княжество контролировало пути на Верхней Волге и стало державой регионального масштаба (с. 2–3).

В некоторой степени, пишет автор, столь скорое возвышение России (тогдашней Московии) обозначило новую стадию имперского строительства в Евразии. Начиная с XV в. крупные континентальные империи благодаря развитию коммуникаций, формированию бюрократии и усовершенствованию армии оказались в состоянии устанавливать более прочную власть на степной периферии. И в итоге в течение XV–XVIII вв. оседлые аграрные империи постепенно овладели Степью (с. 3).

Империи, замечает Коллманн, возникают в результате установления контроля центра над территориями; однако удерживает эти территории гибкая политика, включающая в себя принуждение, кооптацию и общую для всех подданных идеологию. Центральное место в этом спектре политических инструментов занимают разнообразные формы мобилизации, применяемые правителями, и при-

способление к ним подданных. И поскольку у империй Раннего Нового времени было недостаточно человеческих ресурсов для осуществления контроля только посредством насилия, они применяли другие стратегии (с. 3).

Ключевым для утверждения имперской легитимности, пишет Коллманн, являлось заявление об этой легитимности: империи «возвещали» о своей власти, претендуя на гораздо большее, нежели они могли реально осуществить. Имперские центры выдвигали наднациональную идеологию, обычно ассоциирующуюся с господствующей религией элиты. Кроме того, правящая династия описывалась как героическая и харизматичная, способная защитить страну от врагов, а своих подданных – от несправедливости. В евразийской традиции, указывает Коллманн, главными атрибутами имперских правителей являлись «правосудие и милость» (с. 3–4).

Помимо идеологии другим ключевым элементом поддержания имперской власти было установление контроля над территориями посредством институтов, предназначенных для сбора налогов, отправления правосудия, защиты от внешних врагов. В то же время империя, по словам Коллманн, избегала слишком сильной интеграции: создавая вертикальные связи между центральной властью и местными элитами и общинами, она держала их в относительной изоляции друг от друга. С разными народностями и сообществами заключались «сепаратные сделки», касавшиеся объема налогов и воинских повинностей, форм местного управления и прав местной элиты. В случае России это очевидно, если перечислить такие группы, как донские и украинские казаки, сибирские оленеводы, степные кочевники и балтийские немцы (юнкеры). Все они могли лично обратиться к царю через его чиновников, однако горизонтальные связи между этими группами отсутствовали. Для поддержания стабильности от правящей династии требовалась гибкость, что подразумевало постоянный пересмотр условий, на которых та или иная группа существовала в рамках империи, в зависимости от изменяющихся обстоятельств.

Для осуществления этой гибкой политики применялись соответствующие инструменты, и Коллманн указывает, что Россия Раннего Нового времени заимствовала модели управления из разных источников, сочетая элементы монгольских институтов и форм политики с фундаментальным культурным, политическим, правовым, идеологическим и символическим наследием и практиками Византии и других православных государств (с. 4).

Затрагивая проблему так называемого «исконного российского экспансионизма», Коллманн отвергает апелляции времен холодной войны к византийскому наследию, «азиатскому деспотизму» или же мессианизму теории «Москва – Третий Рим» как полностью несостоятельные. Действительно, пишет она, Россия расширялась чрезвычайно быстро, «установив свою власть над всей Сибирью в XVII в., продвинувшись на Дальний Восток и Аляску в XVIII, одновременно отвоевав у Османской империи побережье Черного моря и захватив (совместно с двумя европейскими партнерами) суверенное Польско-Литовское государство» (с. 5). Однако следует учитывать то обстоятельство, продолжает она, что в период, когда Москва строила свое государство путем активной экспансии, тем же самым занимались и ее соседи: Османская, Могольская и Сефевидская империи, европейские колониальные империи. В период Раннего Нового времени Россия и ее соседи расширялись чрезвычайно активно в поисках все новых богатств и ресурсов для государственного строительства: это является одной из существенных характеристик эпохи как в Европе, так и в Евразии в целом.

Для морских колониальных империй Европы экспансия обосновывалась сначала религиозными аргументами, в XVII в. к ним прибавился меркантилизм, а в XVIII в. – комбинация *Ralpolitik* и национальных и расовых дискурсов. В России завоевание также облекалось в разные риторические одежды: возвращение исконных земель, борьба с исламом (XVI в.), достижение статуса великой державы на международной арене (XVIII в.). Однако за каждым конкретным завоеванием и присоединением все-таки, как отмечает Коллманн, стояли реальные экономические и политические цели.

Автор обращает особое внимание на разнообразие населявших Российскую империю народов и отмечает, что источником мощи и стабильности России как империи являлось сбалансированное сочетание сильной центральной власти и политики *laissez-faire* на местном уровне (с. 6). Коллманн рассматривает не столько «управление подданными», сколько взаимообмен между управляющими и управляемыми, постоянное приспособление политических практик к изменяющимся условиям. При этом она подчеркивает, что именно наличие сильного центра, контролирующего множество радикально различающихся территорий, и делало Россию того времени великой державой.

Книга имеет довольно сложную структуру. Помимо введения, в котором обрисовываются теоретические рамки исследования и формулируются его цели, имеется «Пролог», где кратко характеризуется событийная канва, включая внешнеполитический контекст. В первой части книги (главы 1–5) рассматривается географический аспект «собирания империи», вплоть до разделов Польши в XVIII в. Вторая и третья части (главы 6–12 и 13–21) построены по хронологическому принципу и посвящены соответственно XVII и XVIII вв. Однако, в отличие от традиционного взгляда на революционное влияние Петра, автор подчеркивает преемственность, а не разрывы, характеризующие правление императора. В то же время она обращает внимание на особый динамизм XVIII в., который отличал его от предшествующего: демографический рост, экономический бум, наконец, идеи Просвещения, предложившие новые дискурсы и модели управления, а также кардинально изменившие культуру и образ жизни. В заключение рассматривается образ империи, сформировавшийся к 1801 г. в представлениях правящей элиты и литераторов. Эта структура призвана, по замыслу автора, отвечать поставленной ею задаче: проследить процесс формирования обширной империи, показав не только деяния правителей, но и уделив значительное внимание их многочисленным разноязыким подданным, чтобы понять, что же делало империю целостной в социальном и политическом отношении (с. 1).

Приступая к рассмотрению истории России XVII в., автор обращается сначала к идеологии империи, обосновывающей ее легитимность. Хотя термин «идеология», замечает Коллманн, вряд ли применим к обществам Раннего Нового времени, почти поголовно неграмотным. Скорее, в данном случае речь должна идти о тех образах, в которых находила воплощение идея государства, и здесь главными источниками наряду с литературными становятся визуальные, в том числе архитектура. Большую роль играют ритуалы и присущий им символизм, призванные утвердить позитивный образ идеального правителя, элиты, да и самого общества и внушать чувство уважения, благоговения, причастности, способствуя таким образом социальной сплоченности (с. 129).

Анализируя этот материал, автор приходит к следующим выводам.

Во-первых, образы, воплотившиеся в искусстве, ритуале и архитектуре, несли в себе информацию о политической практике, а не об институтах, адресуя прежде всего к взаимоотношениям

правителя с народом и элитой. Власть правителя представлялась неограниченной в теории, как власть отца семейства, но смягченной, урезанной на практике. Как и отец в семье, правитель должен был быть строгим, но справедливым, милостивым и добрым христианином. Он подавал пример благочестия и вел свой народ к спасению. «Политика» отправлялась на личном уровне, а не институциональном: «литургия, церемонии и совет удерживали правителя на верном пути, а политическую систему – в равновесии» (с. 154).

Во-вторых, присущая этой идеологии гибкость делала ее пригодной для всех подданных, независимо от их этнической и классовой принадлежности. Правитель обеспечивал правосудие, порядок и благословение свыше своему царству и народу. Все социальные группы могли претендовать на защиту и благоволение самодержца, но «права» каждой группы определялись в зависимости от региона проживания, этничности и класса. Это была идеология патримониального благочестивого правителя.

В-третьих, хотя политическая реальность и была суровой, этот гармоничный идеал в чем-то совпадал с ней и в какой-то степени формировал ее. В целом политическая система Московии, основанная на родстве и связях, с ее личным характером верховной власти, была очень стабильной. Семьи элиты были хорошо обеспечены и получая землю, крепостных, дары, наконец, статус, не нуждались в юридических или институциональных гарантиях своих прав (во всяком случае, замечает Коллманн, в их словаре отсутствовали подобные термины). Убийство правителя было табуировано, поскольку несло в себе угрозу кровопролитной династической борьбы.

Что касается «деспотизма» – старого клише, получившего вторую жизнь в годы холодной войны, автор постоянно развенчивает его, утверждая, что власть московских государей отнюдь не была неограниченной. Взамен гарантий прав элиты на сопротивление существовали другие рычаги: ожидания подданных, что царь будет благочестив, справедлив и милостив к ним. Оправдывая эти ожидания, русские цари редко вели себя деспотически; исключением был Иван Грозный. Коллманн замечает, что покоившаяся на подобных ограничениях легитимность правителя была свойственна и другим евразийским империям Раннего Нового времени, и подчеркивает, что она отнюдь не запрещала московским государям использовать силу, когда это требовалось (с. 154–155).

Затем от «абстрактной власти воображения» автор переходит к исследованию конкретной власти «кнута, армии и бюрократии», рассматривая такие ее инструменты, как ограничение мобильности населения (прежде всего крепостничество), уголовное право и уголовный суд, картографирование территории, фискальная политика, включавшая в себя меры по созданию промышленности и поддержке торговли. Модернизовавшаяся по европейскому образцу российская экономика носила колониальный характер, о чем свидетельствовало преобладание в ее экспорте сырья, пишет автор, однако происходило наращивание материальных благ, которое расширяло возможности России конкурировать на глобальном рынке и в мире геополитики (с. 204).

Три главы посвящены социальной истории XVII в., в них последовательно рассматриваются элита, крестьянство и другие податные сословия, городское население. В завершение автор анализирует особенности и вариации православия в России этого периода, касаясь в том числе политики христианизации. Она отмечает гибкость и толерантность этой по преимуществу «практической политики», которая помогала сохранять стабильность империи.

Переходя к рассмотрению XVIII в., Коллманн обращается к существенным изменениям, произошедшим в идеологии империи, которая в этот период получила исключительно определенное, недвусмысленное воплощение и в литературных произведениях (одах, панегириках, пьесах), и в философско-политических, религиозных сочинениях, и в архитектуре. В системе имперской образности нашел отражение поворот к европейской культуре и возник новый идеал правителя-деятеля, который должен служить общему благу и вести за собой элиту. В петровское время служение государству заключалось в завоеваниях и реформах; позднее, с распространением меркантилизма, больший вес получило поощрение торговли и промышленности, привлечение в страну иностранных поселенцев и пр. Во второй половине века, когда немецкий камерализм был дополнен идеями французского Просвещения, формируется гармоничный образ империи как божественного творения. При этом императоры и императрицы XVIII в. в чем-то сохраняли и московские черты. Они правили самодержавно, «приветствуя совет, взращивая элиту, устанавливая закон, но никогда не уступая власть, никогда не даруя конституционных институций или прав», — пишет автор (с. 292–293). Что касалось практики самодержавия, империя оставалась государством, управляемым посредством личной власти.

Затем автор рассматривает военные и административные реформы, инициированные Петром I и продолженные Екатериной II и затем Павлом. Однако несмотря на серьезные успехи в создании современной армии и флота, а также бюрократической системы администрации, к концу XVIII в. Российская империя по-прежнему характеризовалась серьезными региональными различиями в том, что касалось административной структуры, права и институтов управления (с. 314).

Особое внимание Коллманн уделяет изменениям в налогообложении, в том числе фискальной политике Екатерины II, в царствование которой государственные расходы существенно превосходили доходы. Рассматривается развитие промышленности, как государственной, так и частной, а также внутренней и внешней торговли. Довольно много места уделяется инфраструктуре и инструментам для усиления контроля над территориями, в частности почтовой и паспортной системам. Не обходит своим вниманием Коллманн и систему правосудия, претерпевшую серьезные изменения, но при этом сохранившую целый ряд московских черт. Обращаясь к социальной истории XVIII в., автор подчеркивает исключительное разнообразие российского общества, как с точки зрения юридической, так и в том, что касалось образа жизни. XVIII век, пишет она, был свидетелем социальной мобильности и динамизма, серьезных социальных изменений. Россия в этот период представляла собой общество в процессе становления, когда закладывались основы системы, сложившейся позднее, в следующем веке. Те же множественность и разнообразие были характерны и для религиозной сферы, когда в результате завоеваний и присоединений выросло количество конфессий в империи, а удельный вес православных подданных существенно сократился.

Авторское повествование основано главным образом на имеющейся литературе, прежде всего англоязычной. Учитываются в ней и работы ряда российских авторов, так или иначе интегрированных в зарубежную историографию. Таким образом, Коллманн опирается на итоги исследований своих коллег и дает уже известную картину общего процветания Российской империи, двинувшейся по европейскому пути. Итоги она подводит в «Заключении», также используя выводы и наблюдения современных исследователей.

Затрагивая проблему имперской и русской идентичности, которая выходит на повестку дня в XVIII в., Коллманн отмечает, что в отличие от Европы и несмотря на колоссальное расширение

империи в XVI–XVIII вв. в России не получил развития дискурс русскости как противоположности иностранному Другому и ее нерусским подданным. В Московский период отсутствовала какая-либо идеология превосходства русских или их серьезного отличия от других этнических групп. Для московских государей разнообразие их земель являлось доказательством их могущества (с. 450–451). И хотя при Петре I, запустившем процесс европеизации, возникает рефлексия по поводу русскости и отношения России как к Западу, так и к населяющим империю народам, важным моментом являлся тот факт, что эти народы не считались «варварскими». Взятый Россией на вооружение проект цивилизаторской миссии, типичный для империй того периода, не принижал другие народы, он был «интегративным, а не иерархичным», пишет автор, добавляя: это была не «русификация», а «Просвещение» с большой буквы. Коллманн не отрицает, что под влиянием «камералистских импульсов» в первой половине века проводились достаточно жестокие кампании насильственного обращения в христианство, однако подчеркивает, что к концу века российское «имперское» мышление стало (сознательно) более инклюзивным (с. 451).

Начатое при Петре I этнографическое изучение населяющих империю народов активизировалось при Екатерине II, которая буквально прославляла невероятное разнообразие народов, природы и ее богатств в подвластной ей огромной империи, пишет Коллманн. К 1801 г. и у императоров, и у элиты России наблюдалось, по ее словам, «космополитическое ощущение идентичности», основанное не на противопоставлении русских «нецивилизованным» подданным, а на признании единства населяющих империю народов. Автор подчеркивает «воображаемый» характер этих представлений, обеспечивавших единство империи, которое на практике поддерживалось политикой принуждения и кооптации.

О.В. Большакова

Романелло М.П.
НЕУЛОВИМАЯ ИМПЕРИЯ:
КАЗАНЬ И РОЖДЕНИЕ РОССИИ, 1552–1671
(Реферат)

Romaniello M.P.
The elusive empire: Kazan and the creation of Russia,
1552–1671. – Madison, Wis.: The univ. of Wisconsin press, 2012. –
XIII, 297 p.

Монография Мэтью Романелло (Государственный университет Уибера, Юта) посвящена изучению того, как продолжительный опыт Московского государства по управлению населением завоеванного Казанского царства и Средне-Волжского региона в целом обусловил зарождение Российской империи. Исследование охватывает период от покорения Московским государством Казанского царства в 1552 г. до окончательного подавления бунта Степана Разина в 1671 г. Между двумя этими датами лежит период установления Московским государством контроля над территорией и окончательного включения ее в состав империи. Автор рассматривает процесс становления этого региона как составной части Московии в сравнительном контексте европейского государственного строительства эпохи Раннего Нового времени. По его мнению, ряд сходных черт дает основание считать Московию одним из вариантов европейских монархий этого периода.

Монография состоит из введения, шести глав и послесловия. Во введении Романелло поясняет то значение, которое он вкладывает в определение Московии как империи «неуловимой» (elusive). По его мнению, с исторической точки зрения она была

«неуловимой» империей, поскольку представляла собой «проект» могущественного государства, созданного, казалось бы, благодаря успешному завоеванию. Однако реальное создание государства происходило крайне медленно и незаметно, и этот растянувшийся более чем на век процесс утверждения власти и связывания воедино существующих экономических, политических и социальных структур в регионе и находится в центре внимания автора. Он пишет, что в условиях нехватки ресурсов и сопротивления завоевателям благоприятными для Московии факторами являлись отдаленность территории Поволжья от зон острых конфликтов и наличие там групп населения, которые могли быть достаточно легко интегрированы в имеющиеся у Москвы структуры. Эти «практические инструменты» позволили империи установить свое господство над обширным регионом, а риторика «завоевания и победы» дала необходимый запас времени, чтобы его упрочить. По мнению автора, «настоящая» империя родилась через 100 лет после того, как о ней было объявлено (с. 5–6).

Отвечая на вопрос, что превратило «неуловимую империю», которая существовала в большей мере как «риторический прием», чем как административный, экономический или военный аппарат, в жизнеспособную «имперскую систему», автор указывает на такие составляющие политики «колониальной» администрации, как долгосрочность стратегий и способность к хорошей адаптации к местным условиям. По мнению автора, отсутствие однородного управления внутри империи следует рассматривать не в качестве слабости, а скорее как возможность развивать такие структуры государства, которые оказались работоспособными в долгосрочной перспективе. Необходимым условием успеха этой политики, в равной мере как и главным оружием в арсенале государства, было время, которым оно в тот период располагало почти в неограниченном количестве (с. 18).

Автор определяет сложившуюся в Московии систему управления как систему «смешанного суверенитета», предлагая соединить два термина, используемых современными западными историками для характеристики европейских государств Раннего Нового времени, – это «смешанные монархии» и «многослойный суверенитет». Применение этого термина, по мысли Романелло, призвано акцентировать внимание на таких чертах государственного строительства и управления, сближавших Московию с другими европейскими государствами XVI–XVII вв., как достаточно свободная конгломерация земель и населения, большие регио-

нальные отличия, разнообразные и параллельные связи между центром и окраинами и т.п. (с. 9).

Первая глава посвящена рассмотрению тех идей, которые способствовали созданию «проекта» Московии как империи и которые были «унаследованы» или заимствованы от Византии и империи монголов. Как указывает Романелло, Московия была окружена империями, и для московских царей – наследников Рюриковичей, принявших православие от Византии, но одновременно воспитанных в традициях Золотой Орды, – было вполне естественно признавать империю единственной моделью государственного управления, дававшей возможность контролировать степи Евразии и их многоэтническое и многоконфессиональное население. Важной частью наследия империи монголов, принятой Москвитин, было стремление к централизации политической власти и эффективность военных сил (с. 22–23).

Отмечается, что политическая, религиозная и социально-экономическая трансформация Казанского царства в «русскую землю» не произошла одновременно, сразу после 1552 г., хотя эта победа существенно улучшила геополитическое положение Московии на восточных рубежах и, более того, оказала огромное влияние на будущее развитие евразийской степи. Создание «Московской империи» началось с номинального контроля над населением и с «фасадной» части – презентации власти царя, проявившейся, например, в размещении гарнизона и православного духовенства в Казанском кремле.

Во второй главе исследуются новая административная структура, созданная для управления царскими владениями в XVII в., а также особенности системы местничества, имевшие наибольшее значение на локальном уровне на бывшей границе Казанского царства. Отмечается постоянная борьба между достаточно независимыми местными институтами Православной церкви и воеводами. По мнению автора, весьма детализированные указы (в частности указы Приказа Казанского дворца) наряду с профессионализацией бюрократического института дьяков были нацелены на то, чтобы обеспечить бесперебойную работу «базовой системы» государственного управления. Однако все проблемы административной системы могли быстро и успешно преодолеваются, если в каком-либо проекте совпадали интересы царя, его приказов, местных светских и церковных властей.

Именно это произошло со строительством второй укрепленной линии на южных рубежах. Автор отмечает, что строительство

первой – Арзамасской засечной черты (1578) фактически обозначило завершение завоевания Казани (с. 45). Симбирская укрепленная черта, ставшая продолжением тянувшейся со стороны Левобережной Украины мощной Белгородской черты, уничтожила традиционные пути миграции местного кочевого населения (башкир, ногайцев, калмыков), способствовала колонизации земель далее на юге и созданию новой «царской» территории вдоль границы (с. 83). Для строительства Симбирской черты и освоения новых земель силовыми методами осуществлялись переселения татар и мордвы, и процесс колонизации не был «естественной миграцией» на юг, но направлялся из центра (с. 86).

Третья глава посвящена экономическому развитию региона. Подробно рассмотрены меры властей по обеспечению безопасности торгового пути по Волге, регулированию внутренней и внешней торговли и развитию местной инфраструктуры. Как полагает автор, появившийся после завоевания Казани (особенно у английских и голландских торговцев) взгляд на Россию как новый торговый путь между Азией и Западной Европой, не был полностью реализован. «Неуловимой империи» пришлось со временем признать тот факт, что следовало более плодотворно использовать те экономические возможности, которые предоставлял этот регион, а не возлагать неоправданных надежд на перспективы новых путей международной торговли. Экономический успех Московии был обусловлен прежде всего ее присутствием в регионе Волги, а не получением быстрых прибылей за счет транзитной торговли. Вместе с тем, несмотря на весьма скромные успехи транзитной торговли, государство получало достаточно прибылей для того, чтобы иметь возможность финансировать ряд строительных проектов в регионе.

В четвертой главе исследуется процесс зарождения как русских, так и инородческих провинциальных элит, включая бывших противников-татар и русских политических изгнанников, ставших верными подданными царя благодаря местничеству и поместной системе. В условиях Ливонской войны царь Иван IV не мог отвести русские войска с западной границы и использовать их на юге для борьбы с набегами кочевников. Мусульманская татарская элита Казанского царства, прежде всего потомки Чингизидов, перешла на службу царю, сохранив за собой привилегии, земли и крестьян при условии военной службы на новой границе. Бывшие враги обеспечивали безопасность Арзамасской и Симбирской ук-

репленных линий, хотя по-прежнему создавали и определенные проблемы для Московского государства.

Пятая глава посвящена нерусским крестьянам, изменению их социального статуса после завоевания Казанского царства и особенно после Уложения 1649 г., а также различным формам протестов со стороны крестьян и духовенства против давления государства. Автор отмечает отсутствие общегосударственной задачи по интеграции этих крестьян, равно как и отсутствие какого-либо общего для государства и Православной церкви плана по трансформации местных крестьян в русскоговорящих и православных.

В шестой главе рассматриваются итоги политики Московского государства за период от падения Казани до 1671 г. Как отмечает автор, процесс создания империи, казавшийся иллюзорным в 1552 г., спустя более чем столетие стал реальностью. В политическом, экономическом и социальном отношении Волжский регион от Казани до Симбирска претерпел заметную трансформацию. Бывшее Казанское царство к 1670-м годам было полностью интегрировано в Московское государство, а все его отличия, разнообразие населения и удаленность от центра при разработке политического курса не принимались во внимание.

Эффективность системы военной безопасности, созданной в этом регионе за предшествующее столетие, показана в книге на примере успешного подавления местного восстания и бунта Степана Разина в 1670–1671 гг. Автор отмечает, что войска нерусского и иноверческого происхождения (татары, чуваша, мордва, марийцы, удмурты) составляли основу защитников крепостей, противостоявших силам Разина. Подчеркивается, что основной «мишенью» восставших были представители местной администрации, в то время как местные помещики и Православная церковь в основном не были задеты. Таким образом, по мнению автора, это был «протест против колониальной политики Московии» со стороны ее жертв (с. 188). Восстание 1670–1671 гг. преимущественно затронуло территории вдоль Симбирской черты. Оно не было реакцией на изменившийся правовой и экономический статус местного населения, и нерусское население не составляло его единственную, исключительную силу, воюя как на стороне правительственных войск, так и на стороне повстанцев.

В послесловии автор размышляет о «неуловимом» наследии «Московской империи», влияние которого тем не менее продолжает проявляться и в современных условиях. Управление империи-

ей стало возможно благодаря развитию системы «смешанного суверенитета», а не вследствие курса на централизацию и унификацию, – вот тот урок, который, по мнению Романелло, следует помнить современной России. Территории и народы, присоединенные к Московии в XVI в., остались и в границах Российской Федерации, но уже в рамках национальных автономных республик.

А.А. Комзолова

Зуев А.С., Игнаткин П.С., Слугина В.А.

**ПОД СЕНЬ ДВУГЛАВОГО ОРЛА:
ИНКОРПОРАЦИЯ НАРОДОВ СИБИРИ
В РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО
В КОНЦЕ XVI – НАЧАЛЕ XVIII в. –
Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2017. – 444 с.
(Реферат)**

В монографии, посвященной присоединению Сибири, основное внимание уделяется не столько фактической стороне этого процесса, занявшего приблизительно полтора столетия, сколько инструментам идеологического и практического «присвоения» обширных земель, населенных многочисленными народами. Исследование опирается главным образом на опубликованные источники – правовые акты и делопроизводственную документацию, материалы летописей, фольклора, этнографические описания. Авторы используют большой массив историографии, накопленный за последние 100 лет исторической наукой.

Во введении отмечается, что «генеральная цель» исследования – осмысление того, «как Российское государство, проводя подчинение сибирских народов, заметно различавшихся между собой по языку, хозяйственному укладу, социальной и властной организации и резко отличавшихся по тем же параметрам от русского населения, решало задачу их вербального (понятийно-терминологического) “освоения”, осмысливания их как “своих”, а также практического превращения их из “чужих / иных” в “своих” и в конечном счете их “присвоения”, т.е. инкорпорации в свой состав» (с. 29). Авторы специально останавливаются на обосновании используемой ими терминологии, подчеркивая, в частности, что

термин «аборигены» не несет в себе никаких оценочных коннотаций и обозначает коренное автохтонное население, давно проживающее на определенной территории. Говоря о политике Российского государства по отношению к сибирским народам в изучаемый период, авторы отдают предпочтение термину «аборигенная политика», поскольку наций тогда не существовало (с. 30, 33).

В первой главе после краткого описания населявших Сибирь в XVI–XVII вв. народов и имевшихся там государственных образований представлена хроника их подчинения Российскому государству. Отмечается, что знакомство русских с Сибирью, а точнее с Югорской землей, началось в XI в., когда новгородцы, а затем владимирцы вели здесь пушной промысел, меновую торговлю и сбор дани. Со второй половины XIV в. на Приуралье стало распространяться влияние Московского княжества, приступившего к христианизации коми-зырян. В конце XVI в. начинается более активное освоение Москвой Сибири, где в это время, по примерным подсчетам историков, проживало 200–220 тыс. человек. Многочисленные племена и государственные образования Сибири находились в состоянии постоянных междоусобных войн, зачастую нападая и на московские владения, в частности в Приуралье. В монографии указывается, что ставший в 1564 г. главой Сибирского юрта хан Кучум согласился поначалу дать присягу-шерть и платить дань Ивану IV, но затем стал вести враждебную политику в отношении Москвы. Так что в годы Ливонской войны Иван IV поручил оборону северо-восточных границ купцам, солепромышленникам и землевладельцам Строгановым, которые наняли вольных казаков. Сибирский поход атамана Ермака, начавшийся в 1581–1582 гг. как «типичный казачий разбойничий набег... кардинально изменил ситуацию в Западной Сибири, характер и динамику сибирской политики Москвы» (с. 57).

С 1585 г. в Западную Сибирь стали прибывать отряды, которые занялись строительством острогов и подчинением местного населения. К концу века были основаны Обский городок, Тюмень, Тобольск, Березов, Нарым и др. Некоторые из местных правителей-князцов без сопротивления признали русскую власть, другие были покорены силой оружия. В 1598 г. после поражения Кучума на р. Ирмень Сибирский юрт прекратил свое существование. К 1618 г. почти вся территория Западной Сибири была подчинена русскими. В книге прослеживается, как шло их продвижение на юг Сибири, сопровождавшееся столкновениями с киргизами, телеутами, джунгарами и монголами, которые в свою очередь сопер-

начали с Цинским Китаем. Отмечается, что начавшееся в 1620-е годы подчинение Западного Прибайкалья, Забайкалья и Якутии осуществлялось небольшими силами землепроходцев, нередко по своей инициативе и на собственные средства. В отличие от крупных воинских контингентов, действовавших ранее в Западной Сибири, эти отряды состояли как из «государевых служилых людей, так и вольных промысловиков-охотников (промышленных людей)» (с. 65).

К 1720-м годам в составе России оказалась основная территория Сибири: на юге русские владения граничили с казахскими и монгольскими степями, Алтайско-Саянским нагорьем, на севере и востоке естественной границей являлось побережье Северного Ледовитого и Тихого океанов. Исключение составляла Чукотка и прилегающее побережье Берингова пролива – население этих территорий (коряки, чукчи и эскимосы) оставались вне пределов русской власти. Как пишут авторы, присоединение (или «взятие», если использовать лексику современников событий) Сибири проходило на общем фоне российской материковой экспансии и энергичного строительства европейских колониальных империй, захватывавших территории в Америке, Африке и Азии (с. 72).

К началу присоединения Сибири русское государство имело уже большой опыт подчинения иных земель, указывается в монографии. Базовые установки, полагают авторы, определялись доминированием государства над обществом во всех сферах жизни. Они придерживаются мнения, что Московское княжество, а затем Русское царство формировалось как патримониальное «вотчинное» государство, в котором власть правителя и власть собственника были слиты в единое целое в лице монарха-самодержца. В состав вотчины-собственности московских государей автоматически включались все земли, присоединяемые к их владениям разными путями. В этой политической системе государь рассматривался как хозяин-собственник и домовладелец, как «царь-батюшка», в равной мере проявляющий заботу о своих «домочадцах». Будучи «добрым пастырем своего стада», он нес ответственность перед Богом за своих подданных. Формировавшиеся в русской политической культуре этатистско-патерналистские представления дополнялись в XVI–XVII вв. идеями богоизбранности и мессианской роли Московской Руси, пишут авторы, имея в виду идеологему «Москва – Третий Рим». Эти идеи порождали стремление к распространению пределов Русского православного царства и к поиску политической

самоидентификации: Московский князь стал самодержцем и царем, уравнивая себя в статусе с императором (в европейской традиции) и ханом (в тюрко-монгольской). Для утверждения столь высокого в тогдашней политической иерархии статуса требовалось подчинение иных правителей (царей, князей и т.д.) и владение многими народами, землями и государствами. Так что в царский титул включались все новые земли, реально или номинально подчиненные «государю всея Руси» (с. 72–76).

По словам авторов, с середины XVI в. Московское государство стало приобретать основные признаки континентальной империи, для которой были характерны централизация власти с единоличным правителем-монархом во главе; ориентированность на расширение своей территории и увеличение числа разноэтничных подданных; сосредоточение политической и экономической власти в одном центре, который извлекал ресурсы из подвластных территорий; стремление к унификации административно-территориального устройства и распространению единого законодательства на всю территорию империи, но при этом вынужденное сохранение разноформатных «окраинных» и «национальных» автономий (с. 79).

В книге уделяется внимание опыту, накопленному московскими князьями в ходе «собираания» русских земель и взаимодействия с золотоордынскими «технологиями властвования». Подчеркивается, что Московское царство распространяло свою власть на новые территории постепенно и поэтапно, начиная с установления протектората и заканчивая полной аннексией (приводятся примеры Казанского и Астраханского ханств). Включение новых территорий в московские владения оформлялось письменными или устными присягами-клятвами местных правителей и элит в верности государю. Население присоединенных территорий облагалось данью, которая называлась ясаком, когда взималась с мусульман и язычников. При этом, замечают авторы, было запрещено обращать нерусское население – «ясачных людей» – в крепостных или холопов, поскольку «государство предпочитало эксплуатировать их напрямую» (с. 83). Процесс политического подчинения новых территорий сопровождался их колонизацией русскими людьми, что довольно значительно меняло там этнокультурную ситуацию.

Авторы выделяют несколько «установок» в политике Московского царства, которые реализовались в Сибири: установка на расширение-экспансию; на огосударствление сибирского пространства; на получение доходов в казну (главным образом за счет пушнины); на сочетание мирных и военных методов. Они подчер-

квивают, что идеальным вариантом для Москвы было мирное и желательное добровольное подчинение иноземцев («чтоб сибирская земля пространялась, а не пустела», «лаской, а не жесточью»). Такой подход определялся также малочисленностью в Сибири русских вооруженных сил, локализованных в редких зимовьях, острогах и городах, находившихся на значительном удалении друг от друга (с. 101).

Тактика и русской власти, и землепроходцев по подчинению сибирских иноземцев, при отдельных вариациях, являлась универсальной для всей Сибири (с. 104). При встрече с иноземцами предписывалось собрать их предводителей и «лучших людей» и призвать их «под государеву высокую руку», что означало обещание защиты взамен на уплату ясака. Затем почти всегда следовала процедура приведения к присяге-шерти, после чего в обязательном порядке брались заложники-аманаты. Лишь обезопасив себя таким образом, служилые люди могли приступать к сбору ясака. Если же иноземцы отказывались признавать власть московского государя, в ход шло оружие. Масштабы его применения варьировали в зависимости от активности сопротивления (с. 104–106).

«В целом, – резюмируют авторы, – развитие русско-аборигенной коммуникации при первых контактах по мирному или конфликтному сценариям зависело от поведения самих коммуникантов – иноземцев и русских. Акция (мирная или военная) любой из этих сторон вызывала, как правило, адекватную реакцию (мирную или военную) другой стороны» (с. 114). Они обращают также внимание на то обстоятельство, что конфликтность русско-аборигенных отношений повышалась по мере продвижения русских на восток от Уральских гор. Причины этому они видят не только в ослаблении оперативного контроля местной воеводской власти, но и в особенностях организации землепроходческих отрядов, вынужденных зачастую находиться на самообеспечении.

Оценивая ситуацию с присоединением Сибири, авторы указывают на руководящую и направляющую роль государства в лице центрального правительственного аппарата (Посольского приказа, Казанского дворца, затем – Сибирского приказа) и созданных на местах органов управления – воеводских администраций. «Но функцию непосредственного поиска и подчинения новых “землиц” и иноземцев выполняли служилые люди, действовавшие как по правительственным предписаниям, так и по собственной инициативе» (преимущественно в Восточной Сибири). Значительный вклад в этот процесс, указывается в монографии, внесли «про-

мышленные люди, шедшие “встречь солнцу” в поисках новых районов добычи пушнины. Важнейшим фактором, обеспечившим успех присоединения Сибири, стало переселение на новые земли и оседание там русского населения, прежде всего крестьянства» (с. 124). К 1710 г. русские (под которыми авторы подразумевают всех, прибывавших из европейской части России) количественно уже заметно преобладали над коренным населением. К этому времени в Сибири насчитывалось более 300 тыс. русских обоего пола, в то время как численность сибирских народов составляла тогда около 240 тыс. человек (с. 125).

Вторая глава посвящена политико-правовому оформлению легитимности власти царя над Сибирью и ее народами. Подчеркивая отсутствие у Москвы ясно выраженной идеологической программы «сибирского взятия», авторы указывают на прагматический характер ее политики в отношении Сибири, которая опиралась на ранее апробированные методы. В ее основе лежало сотрудничество с аборигенными военно-политическими элитами в сочетании с методами администрирования и прямого насилия. Целью московской политики являлось обложение аборигенов ясаком, который имел в тот период не только финансовое, но и политическое значение, будучи главным показателем подданства и признания русской власти (с. 126–127).

О методах и способах подчинения сибирских иноземцев можно судить по сохранившимся документам – царским указам, грамотам, наказам и наказным памятям, в том числе составленным в воеводских избах для приказчиков острогов, зимовий, слобод, ясачных сборщиков и командиров землепроходческих отрядов. Однако эти документы содержат, как правило, рекомендации самого общего характера. Отчетная документация, в первую очередь доклады землепроходцев (сказки, расспросные речи, росписи, «чертежи»), содержала в себе обильную информацию о примерной численности и платежном потенциале иноземцев, их государственном устройстве, хозяйственных занятиях, языке и вероисповедании, боеспособности. Постепенно увеличивавшийся на протяжении XVII в. объем «этнографической» информации, пишут авторы, еще не порождал осознания необходимости дифференцированного подхода к разным группам сибирского населения. Однако в типовых рекомендациях местной власти и землепроходцам содержались указания, что они могут действовать по собственной инициативе («смотря по тамошнему делу») (с. 127–129).

В главе подробно рассматриваются такие политико-правовые акты, как жалованное слово и шертовальные записи, которые являлись основой для оформления и подтверждения подданства сибирских иноземцев русскому царю. Особое внимание уделено процедуре приведения к присяге-шерти и контингенту иноземцев, приводимых к ней. Подчеркивается договорный характер шерти, которая сопровождалась «дипломатическим» обменом дарами.

В третьей главе «Освоение и присвоение Российским государством социально-политического пространства Сибири» рассмотрены такие аспекты этого процесса, как огосударствление земли и объясачивание местного населения (перечисляются виды и варианты ясака), адаптация сибирских иноземцев к российской политико-правовой системе, что означало прежде всего безоговорочное подчинение «белому царю». Еще одной важной составляющей процесса освоения Сибири являлось «переформатирование» русской властью «аборигенных социальных и потестарных структур с целью включения местных этносоциумов в систему российской государственности». Здесь авторы выделяют два варианта действий, первый из которых применялся в Западной, а второй – в Восточной Сибири. Если в Западной Сибири, где военнопотестарные объединения (остяцкие и вогульские княжества) некоторое время сохраняли автономию, а с сибирскими татарами были выстроены неясачные отношения, налицо было использование технологий мягкого и постепенного подчинения, то в Восточной Сибири русская власть действовала максимально быстро. Однако оба варианта в конечном итоге «способствовали сначала номинальному, затем реальному освоению / присвоению социально-политических институтов, существовавших у сибирских народов». В монографии этот процесс определяется как «политическая русификация», которая наиболее ярко выразилась в административно-территориальном структурировании «этнического, политического и социального пространства Сибири» (с. 373–374).

Авторы подчеркивают, что русская власть, при всем разнообразии комбинаций наименования этнотерриториальных групп сибирских иноземцев, стремилась закрепить в официальном делопроизводстве три номинации: волость (у оседлых и полуоседлых аборигенов), улус (у кочевников-скотоводов) и род (у «бродячих» охотников, рыболовов и оленеводов). Таким образом осуществлялось вербальное присвоение сибирского пространства, которое из «чужого» делалось «своим». Одновременно происходила поименная при-

писки ясачного населения к русским военно-административным пунктам – городам, острогам и зимовьям, что в монографии определяется как «фискально-налоговая инвентаризация аборигенного населения» (с. 386).

В заключении указывается, что присоединение Сибири имело явно выраженные идеологические обоснования, что осознавалось как миссия, заключавшаяся в распространении пределов Русского православного царства как оплота истинной веры. Для обоснования прав на Сибирь использовались такие легитимирующие аргументы, как указание на давность владения, причем акцент делался на «вотчинные», т.е. наследственные и «вечные» права московского государя. Включение в титулатуру русского царя политико-географических названий, связанных с Сибирью (авторы называют их политонимами), – князь Югорский, Обдорский, Кондинский, и, конечно, «царь Сибирский», а также включение в царский герб короны, символизировавшей «Сибирское царство», давало понять всему миру, что сибирские земли являются владением московского государя (с. 428–429).

В отношениях с сибирскими народами русская власть не ограничивалась фактическим захватом территории и подчинением населения. Она стремилась формализовать данный процесс, внедряя в политико-правовые отношения с сибирскими иноземцами русские представления о подданстве, пишут авторы, утверждая, что нет никаких оснований рассматривать, например, шертование и практику аманатства как «ордынское наследие» в политике Российского государства. Они указывают, что развитие в XVII в. процедуры шертования и формуляра шертовальных записей было прямо связано с развитием крестоцелования – христианской присяги. По их мнению, это свидетельствует о развитии общего дискурса «подданства» русскому монарху и формировании единого института легитимации царской власти для всех категорий населения, независимо от их вероисповедания (с. 431–432). Авторы также отмечают, что «договорные отношения», закрепленные в шертовальных записях, предусматривали взаимные обязательства, однако обязанности иноземцев прописывались конкретно и подробно, а «милости» царя – кратко и общо (с. 433).

После присоединения Россией Сибири, пишут авторы, «ее номинальное присвоение русским царем, навязывание сибирским народам новых (русских) политических понятий и отношений и правовое оформление этого процесса сопровождалось и кардинальным переформатированием местного социально-политического простран-

ва в целях его инкорпорации в систему российской государственности» (с. 434). В Сибири внедрялась русская система управления, перекраивались существовавшие у аборигенов «властные вертикали и управленческие структуры» в соответствии с существовавшим в Центральной России уездно-волостным устройством, а представители местных элит превращались в должностных лиц и становились проводниками русской политики.

Несмотря на то что русская администрация редко вмешивалась в обыденную управленческую и судебную практику внутри аборигенных сообществ, вовлеченность сибирских иноземцев в установленную систему подтверждается быстро распространившейся практикой обращений к русской администрации. Столь же быстро освоили аборигены и терминологию, применявшуюся для их описания русскими землепроходцами и чиновниками (князь / князец, лучшие люди, холопы, волость, земляца, улус, юрт и т.д.). Они подстраивали под русские «правила игры» свои нормативно-поведенческие практики, включали «русский фактор» в качестве важного компонента в картину мироздания. В результате «сибирские иноземцы – *иные* люди, адаптируясь к новым условиям жизне-существования, облегчали русской стороне их превращение в *своих*» (с. 436).

Подводя итог своему исследованию, авторы пишут, что утвердившиеся в историографии тезисы о невмешательстве русской власти в социально-потестарное устройство аборигенных сообществ Сибири и о ее охранительной политике нуждаются в серьезной корректировке. Они указывают на заметную тенденцию к унификации в управлении сибирской «государевой вотчиной», проявившуюся уже в 1620–1630-е годы, и подчеркивают, что в данном случае следует говорить о «социально-политической ассимиляции – процессе, в ходе которого сибирские народы включались в институциональные структуры государства путем восприятия и принятия основополагающих паттернов русской политической культуры» (с. 437).

О.В. Большакова

Стейнвелл Ч.

**НИТИ ИМПЕРИИ: ЛОЯЛЬНОСТЬ
И ЦАРСКАЯ ВЛАСТЬ В БАШКИРИИ, 1552–1917
(Реферат)**

Steinwedel Ch.

**Threads of empire: Loyalty and tsarist authority in Bashkiria,
1552–1917. – Bloomington: Indiana univ. press, 2016. – XIV, 381 p.**

Свою монографию, посвященную истории отдельного региона, который вошел в состав империи на самом раннем этапе ее строительства, – Башкирии – Чарльз Стейнвелл, профессор Северо-Восточного Иллинойского университета, назвал «Нити империи», имея в виду те связи, которые существуют между центром и периферийными территориями. И в качестве главного инструмента, «привязывающего» населяющие эти территории народы к имперскому ядру, автор выделяет лояльность – термин, не слишком часто встречающийся, по его словам, когда речь идет об империях, которые обычно ассоциируются с насилием и отсутствием демократии (с. 4–5).

Ограничив территориальный охват своего исследования, Ч. Стейнвелл расширил его хронологию, рассмотрев весь период существования Российской империи, которая, как склонны теперь считать зарубежные русисты, сформировалась задолго до того, как получила свое название. Скорее, имперский статус был лишь закреплён Петром I, который фактически ввел свою державу в европейский мир. Сосредоточившись на одном регионе, автор получил таким образом возможность более глубоко исследовать реалии и ментальные конструкции, проследив их изменение во времени.

В центре его внимания – категории сословия, вероисповедания и национальности, которые играли большую роль в управлении Башкирией.

На протяжении всего периода 1552–1917 гг., пишет автор, задача имперских чиновников в отношении Башкирии (как и других территорий империи) оставалась по сути одной и той же: культивировать лояльность подданных, что обеспечивало бы стабильность власти. Однако «нити», создававшие ткань империи, с течением времени изменяли свою природу. До 1730 г. – один из важных хронологических разделов в истории региона, по мнению автора – нити были слабыми и касались очень узкой прослойки, в основном православных и русскоговорящих, а также представителей местной элиты. Тем не менее этого было достаточно для решения весьма ограниченных в то время задач империи, пишет Ч. Стейнвелд, характеризуя Россию как одну из «степных» империй.

Затем наступает новая эпоха, которая характеризовалась постепенным усвоением европейских идей, культуры и образа жизни. Ее особенности и изменения во времени отражены в названиях глав: «Абсолютизм и империя, 1730–1775», «Империя разума, 1775–1855», «Империя участия, 1855–1881», «Империя и нация, 1881–1904». Кризис 1905–1907 гг. побуждает автора посмотреть на Российскую империю в широком сравнительном контексте, отойдя от европоцентристского угла зрения. Именно в «европейский» период в истории России, по мнению автора, и создавались «нити империи», являющиеся предметом его изучения.

Для середины XVIII в. основным инструментом в их формировании являлось насилие, затем, при Екатерине, внимание властей обращается на дворянство: наряду с привлечением в Башкирию русских помещиков восстанавливается утраченный местными мусульманами дворянский статус, происходит официальное признание мусульманского духовенства. Местная элита, как предполагалось, должна была служить посредником между центральной властью и низшими сословиями. Эти усилия увенчались успехом, и после Пугачевщины восстания в регионе почти сходят на нет вплоть до революции 1905 г. Именно тогда, в эпоху возникновения массовой политики и распространения идей о культурно гомогенном национальном государстве, была поставлена под вопрос способность нерусских и неправославных элит быть лояльными императору, с одной стороны, и поддерживать лояльность широких масс – с другой, пишет автор (с. 4).

Тем не менее для империи как таковой ключевым является не гомогенность, а разнообразие и различия – этнические и религиозные прежде всего, однако также и сословные. Автор исследует два типа сословного статуса в Башкирии, характерные и для империи в целом: дворянский и «национальный», в данном случае – башкирский.

Дворянство, пишет он, делало представителей местной элиты членами статусной группы с соответствующими обязательствами и вводило их в культурный мир правящей династии, который стал в Екатерининскую эпоху по существу европейским. Дарование дворянского статуса, замечает автор, являлось особенно важным для региона с преобладанием мусульманского населения. «Башкиры» также являлись сословием, а не народностью; данный статус указывал на определенные привилегии и обязательства, отличавшие башкир от других сословий, например, крестьян или купечества, так же как и от татар, проживавших западнее и не имевших статуса особой группы, или от «иностранцев» Сибири на востоке. Свои права башкиры получили при Иване Грозном, в том числе право на землю, и должны были защищать степной фронт империи (с. 6–7).

Сословная иерархия была поставлена под вопрос в пореформенную эпоху, когда начинается процесс постепенного превращения подданных империи в граждан. Опыт Башкирии, по мнению автора, значительно усложняет картину отношений государства с нерусским / неправославным населением, традиционно рисовавшуюся историками как целенаправленный стадийный процесс, ведущий к полной ассимиляции. Таковой не просматривается в башкирских реалиях, пишет Ч. Стейнведел. Стратегии и цели инкорпорации менялись на протяжении всего исследуемого периода; менялся и уровень насилия. Автор полагает, что правительство стремилось не столько ликвидировать различия, сколько систематизировать их, отразив в законодательстве. Так что вместо ассимиляции имела место аккультурация (с. 7–8).

Географическое положение Башкирии на границе Европы и Азии побуждает автора характеризовать этот регион как место, где русское православие встречалось с мусульманством, славянское – с тюркским, современность с древностью, Азия с Европой (с. 10). Разнообразие обширного региона, сопоставимого, по его словам, с территорией штата Калифорния или, например, Швеции, выражалось как в географическом отношении, так и в пестроте племенного состава. Он останавливается на общей характеристике

населения, в котором наряду с башкирами присутствовали татары (и их различные группы), финно-угорские народности (мари, удмурты, чуваш), русские. Отмечает автор и отсутствие традиции независимой государственности у башкир, которые всегда платили кому-то дань.

Завоевание Башкирии означало возникновение новой евразийской «степной империи», в которой для управления кочевым и оседлым населением создавались разные системы администрации. Контраст показан в книге на примере Казани, завоеванной Иваном Грозным со всей жестокостью того времени.

В литературе нет единого мнения о том, насколько «добровольно» вошла Башкирия в состав России. Однако согласно башкирским хроникам, на которые ссылается автор, в тот момент у Башкирии, зажатой между Ногайской ордой и Казанским ханством, не было особого выбора. Башкирская элита вынужденно сделала его в пользу более сильной Москвы, получив обещание сохранить их веру и обычаи в обмен на ясак, который прежде платился Казани. Принеся клятву «Белому бею», башкирские племена получили грамоты, подтверждающие их права на землю (с. 17–18).

По мнению Ч. Стейнведела, история присоединения Башкирии к России не является парадигмальным примером, она скорее отражает гибкую и многообразную природу экспансии Москвы, в которой «при всем ее упорстве отсутствовали система и последовательность» (с. 19). Башкирия вошла в Российскую империю совершенно при других обстоятельствах, нежели Казань, что в данном случае демонстрировало другую сторону империостроительства Москвы. Как пишет автор, к востоку от Казани в российском империализме отсутствовала сильная церковь, не получили широкого распространения помещичье землевладение и владение крепостными (с. 37). Центр «встроился» в модели, регулировавшие политическую жизнь в Степи. Вплоть до XVIII в. Российское государство незначительно вторгалось в жизнь башкирских подданных, не более чем его предшественники – Ногайская орда, Казанское и Сибирское ханства. Не происходило ни массовых крещений, ни закрепощения крестьян; дань – главная забота московских государей – не была слишком тягостной.

Случай Башкирии, пишет автор, демонстрирует отсутствие в Московии «идеологии крестового похода» (*crusading ideology*), что, как отмечают и другие историки, отличало православие от католического Запада. Здесь применялись совсем иные стратегии

управления, направленные прежде всего на защиту рубежей строящейся империи, крайне уязвимой на юго-востоке. Именно поэтому московские государи старались привлечь башкир на свою сторону, а не вступать с ними в конфронтацию. Язык официальной документации того времени – это язык переговоров, свидетельствующий о страхе потерять контроль, замечает Ч. Стейнвелл.

В широком контексте московской экспансии XVI–XVII вв. случай Башкирии, по его мнению, ближе всего к донским казакам, которых также следовало привлечь на свою сторону в соперничестве с соседями. Однако Запорожская Сечь пользовалась куда большими привилегиями, поскольку противостояние со странами, расположенными западнее, было острее. Кроме того, в тех присоединенных землях, где социальная структура была более схожей с московской, цари даровали населению права и привилегии фактически те же, что и в метрополии (в частности, в Смоленске и Казани).

В целом же подход к Башкирии больше напоминал евразийские, нежели европейские модели. К востоку от Казани Москва, как и ее тогдашние соперники Османская империя и империя Цин, предпочитала принять «политическую, социальную и культурную экологию Степи», поскольку в ее задачи входило осуществлять контроль и вести торговлю на обширных территориях, населенных людьми иной веры и иного образа жизни. Как отмечают специалисты по истории империй, у Китая, России и Турции было много общего в том, как они расширялись в Евразии: они «прагматически смешивали многие традиции и были толерантны в религиозном отношении». Московские чиновники, в частности, опирались на монгольское наследие. До начала XVIII в. ключевым аспектом такого прагматизма всех трех империй являлась практика создания правовых и административных различий между оседлым ядром империи и кочевническим или полукочевническим степным фронтиром. Россия, таким образом, следовала панъевразийской модели, делает вывод автор (с. 41).

В то же время он предостерегает от слишком идеалистических трактовок отношений Москвы с башкирами, которые и до 1730 г. были далеки от гармонии. Степь – это всегда насилие, это набеги, взятие пленных и захват имущества. На протяжении всего начального периода достаточно часто происходили восстания. Даже самые скромные попытки московского правительства изменить что-либо в системе управления вызывали враждебную реакцию башкир и заставляли его отступать. По словам автора, у башкир существовало вполне определенное понимание того, какими

должны быть взаимоотношения с царем и его чиновниками, и когда оно нарушалось, следовал мятеж. Как правило, он завершался переговорами и подтверждением условий коллективного землевладения в Башкирии, размеров налогообложения и других прав и обязанностей. Башкирские восстания 1662–1664, 1681–1684 и 1704–1711 гг. были обусловлены тремя факторами – постепенным захватом башкирских земель, финансовым кризисом в связи с денежной реформой и появлением в 1630 г. на юге калмыков, которым Москва, затеявшая борьбу с Крымским ханством, начала отдавать предпочтение в их спорах с башкирами. Были и другие причины – попытки христианизации, а в 1704 г. – повышение налогов Петром I (3, с. 26–27).

И тем не менее тот факт, что уже в XVII в. башкиры участвовали в войнах на таких отдаленных территориях, как Польша и Османская империя, заставляет предположить, что все же сотрудничество, а не конфронтация характеризовало в этот период отношения России и Башкирии.

Ситуация начала меняться в XVIII в., когда правительство постепенно стало вводить новые условия инкорпорации башкир в империю, основанные на понятиях имперской власти в римской традиции. Вначале были сохранены нетронутыми религия и привилегии элиты, а некоторые – как, например, наследственное владение землей и введение тарханного статуса – даже расширены. Однако после неудач со строительством Оренбурга, призванного стать форпостом в Азии, центральная власть обратилась к иной стратегии, стремясь утвердить принципы петровского абсолютизма.

Ясак заменяется подушной податью, земля, принадлежавшая башкирам, передается помещикам, строящимся крепостям, заводам. В итоге Башкирия, и в том числе ее элита, утратила многие привилегии и мало что получила взамен. Племенная структура в условиях усилившегося имперского давления разрушалась. Единственное, что было сохранено, – это толерантность в отношении религии, в отличие от районов, расположенных западнее, где проводились массовые обращения мусульман. Реализация в Башкирии «цивилизаторской миссии», основанной на идеях европейского Просвещения, была, по мнению автора, невозможна. А поскольку основную массу чиновников составляли военные, нет ничего удивительного в том, что в стиле местного управления превалировало применение силы. Башкиры отвечали на это силой и заслужили репутацию «диких и мятежных».

Период 1730–1775 гг. был поистине кровавым, поскольку имело место не только «повседневное насилие империи», но и два крупных военных столкновения. Как считает автор, причина того, что Башкирия в середине XVIII в. являлась «точкой возгорания», заключается в том, что «географически и в социальном отношении она находилась между двумя полюсами российского империализма». Имеется в виду, что в обширном спектре окраин империи Башкирия занимала промежуточное положение между Западом и Востоком (Сибирью), что обуславливало достаточно двойственную политику. Многие исследователи отмечали, что там, где имперские чиновники могли понимать местную элиту (дворянство, например), они стремились к кооптации – т.е. старались сделать ее частью российского дворянства, с соответствующими привилегиями, которые давала служба царю. Чем дальше на восток – в Сибирь, где подобного рода элита отсутствовала, тем чаще местное население просто обращалось в данников, не имеющих особых привилегий (с. 75).

В Башкирии царская империя, по словам Стейнведела, «бросалась из одной крайности в другую»: сначала использовалась фактически ордынская модель управления, затем начали предприниматься попытки установить абсолютную власть и ликвидировать то, что было приемлемо для местного населения. Отсюда – регулярное применение силы. И только после подавления пугачевского восстания имперский режим на самом высшем уровне – начиная с императрицы Екатерины – начинает обращать внимание на Башкирию и создавать новый базис для имперской власти.

По мнению автора, проведение четкого разграничения между Востоком и Западом в понимании политики, возникшее в годы правления Петра, означало переориентацию с евразийских моделей на европейские, что начало ярко проявляться в царствование Екатерины, когда реформировалась система администрации. При Александре I проводится ряд реформ, касавшихся как землепользования, так и религиозной жизни (активно строятся мечети). Автор отмечает, что участие башкир в Наполеоновских войнах изменило их образ в глазах властей, они более уже не считались «мятежными». Он характеризует 1775–1855 гг. как период «покою», в течение которого численность башкир удвоилась, повысилось их благосостояние. Создание военных поселений на территории Башкирии и побуждение башкир к занятию земледелием, так же как и к постройке жилищ «европейского образца», значительно приблизило их к имперской власти, пишет автор. По сравнению с

«иногородцами» Сибири, башкиры были гораздо сильнее опутаны повинностями, что подчеркивало их близость к другим категориям населения «ядра» империи, а не к ее периферии (с. 110–111).

Эпоха Великих реформ принесла башкирам освобождение от статуса военного сословия – они стали управляться гражданской администрацией, получили право избирать своих старшин, обращаться в «третейские суды» по мелким делам и в гражданские, а не военные – по серьезным правонарушениям; наравне с русскими крестьянами смогли участвовать в работе земства. В период 1855–1881 гг. башкиры еще больше приблизились к Европейской России и получили потенциальную возможность «участвовать в жизни империи» (с. 144).

Обращаясь к политике русификации, которая активно проводилась в царствование Александра III, автор указывает на весьма скромные ее успехи в Башкирии. Попытки контролировать ислам и влиять на религиозную жизнь мусульман, а также повысить авторитет православия и русской культуры, пишет Стейнвелд, были куда менее амбициозными, чем на западных окраинах империи (с. 179). Напор усилился в начале XX в., однако вскоре разразился кризис 1905–1907 гг., который многое изменил в Башкирии. В этот период категории сословия и вероисповедания обретают новые значения, так же как и понятия лояльности и национальности, которые активно политизируются, но, главное, перестают совпадать с традиционной сословной иерархией и конфессиональной принадлежностью. «Лояльные патриоты» и «подозрительные революционеры» могли принадлежать к любой социальной группе, включая дворянство, рабочий класс, земство и даже местную администрацию. Выборы в Государственную думу продемонстрировали в полной мере раздробленность и разобщенность населения империи (с. 183–184).

Рассматривая ход и итоги революции в регионе, Стейнвелд обращается к сравнениям. «Существует большое искушение», пишет он, представить события 1905–1907 гг. в Уфимской губернии как часть цепи революций, прокатившихся по Евразии: Декабрьской революции 1905 г. в Иране, младотурецкой революции 1908 г. в Османской империи, революции 1911 г. в Китае. Действительно, продолжает он, все четыре революции произошли в ходе военных либо политических неудач в странах с лингвистически и конфессионально иным населением, нежели в Европе, и имели одну цель: установление конституции. Однако Стейнвелд указывает на отличия российского варианта, где и армия, и духовенство, и

бюрократия сохранили лояльность императору Николаю II, которому путем уступок удалось удержать власть. Ни башкиры, ни другие мусульманские народы в регионе не принимали активного участия в революции, и это для автора еще один аргумент в пользу того, что события 1905–1907 гг. в Башкирии никак нельзя причислить к ряду «евразийских революций» (с. 203–204).

Однако после 1905 г. в Башкирии происходит пробуждение национального сознания, что нашло публичное выражение в выступлениях депутатов от Уфимской губернии в Государственной думе, которые говорили о башкирах не как о сословии, а как о народе, национальности, пишет автор. Он останавливается на ответных действиях центральных властей, направленных на радикальное снижение мусульманского влияния, что выразилось также в снижении влияния местной башкирской элиты. Процесс «национализации» башкир усилился в ходе Первой мировой войны, одновременно с ростом русского национализма, который поставил во главу угла не царя, а нацию, которая должна теперь являться объектом лояльности. «Нити, которые связывали империю воедино, истерлись», – заключает автор (с. 245).

О.В. Большакова

**МАЛОРОССЫ VS УКРАИНЦЫ:
УКРАИНСКИЙ ВОПРОС В НАУКЕ,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКЕ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И СССР.**

**Очерки. Колл. монография. – М.:
Институт славяноведения РАН, 2018. – 528 с.
(Реферат)**

Постсоветские взаимоотношения России и Украины, оказавшись одним из наиболее драматичных последствий распада Советского Союза, привлекли внимание научного сообщества к переосмыслению событий нескольких веков совместной истории двух восточнославянских народов в рамках единого государства. Одним из фундаментальных исследований в этой области стала коллективная монография сотрудников Института славяноведения РАН, состоящая из десяти глав-очерков, в которых с применением междисциплинарного подхода и в хронологической последовательности показаны основные вехи историко-культурного и политического взаимодействия восточнославянских этнических общностей.

В обширном Введении (авторы Е.Ю. Борисёнок, М.В. Лескинен) анализируется новейшая историография проблемы, прослеживается, как воспринимался учеными и обществом «украинский вопрос» в системе исторических и политических координат сменяющихся эпох. Термин «Украина», известный по крайней мере с XII в., первоначально означал «окраина, окраинная земля», но постепенно стал употребляться в значении «край» или «страна». В XVII в. широко распространенное название «Украина» бытовало наряду с наименованием «Малороссия», преимущественно в официальных документах и литературе. В XVIII в. так именовали «приграничную периферийную территорию с домодерной администрацией», а в XIX в. в административной практике оно означа-

ло территорию двух губерний – Черниговской и Полтавской. Основой Малороссийского губернаторства, созданного в начале XIX в., было историческое ядро украинских земель на левобережье Днепра – Гетманщина. Слободская Украина, или Слобожанщина, сформировалась как административное образование на территории, заселяемой в результате колонизации под контролем русского правительства начиная с XVII в. Понятие «Новороссия» возникает во второй половине XVIII в., определяя область в Северном Причерноморье, и носит нормативно-административный характер. Юго-Западный край (Волынская, Подольская и Киевская губернии) входил в состав Западного края, состоявшего из девяти губерний (с. 9).

По всеобщей Российской переписи 1897 г. удельный вес малороссов / малороссиян (как называли их в Москве и Петербурге) в общем населении Империи (в программе переписи имелись вопросы о родном языке и вероисповедании опрошиваемых) составлял 17,5%. Абсолютное большинство их проживало в двух регионах коренного украинского массива (кроме Харьковской губернии) – Левобережной Украины (80,8% населения региона) и Правобережной Украины (75,5% населения). В Малороссии малорусы составили 42,9% общего числа жителей. Всего на этих землях проживало 81,1% всех украинцев Российской империи (там же).

В 1830-х годах усилиями министра народного просвещения графа С.С. Уварова утверждалась идея общерусской нации, которая, по оценке известного историка А.И. Миллера, оставалась доминирующей вплоть до краха империи. Как считают авторы, с 1860-х годов можно говорить об оформлении идеи «единой и неделимой России», в соответствии с которой должно было происходить «сближение и слияние инородцев с русскими» (с. 13).

С середины XIX в. политику «слияния» разнородного населения связывают с русификацией или обрусением. При сравнительном исследовании империй в центре внимания оказываются тактика и стратегия имперской власти, в том числе язык бюрократии и права. Сопоставление взаимных образов и стереотипов (например, малорусов и великорусов / украинцев и русских) необходимо проводить не только на двухстороннем уровне, но учитывать общеидеологические или традиционные установки общества в целом, пишут авторы (с. 17). Исследователи рассматривают особенности парадигмы нации и национального в российской власти и науке, а также процесс складывания лексикона русской и российской (имперской) идентичностей. Такой подход представляется

весьма плодотворным, поскольку формирование собственной идентичности, с одной стороны, и видение «иного» – с другой, неотделимы друг от друга. «Сопоставление образов этнического “своего” и взглядов на “своего (т.е. имперского) чужого” тесно связано со стремлением выработать единый эмоциональный образ пространства Родины / империи, общей картины ее прошлого, символики и визуального образа типа человека, “представляющего” нацию» (с. 18).

Новые методы связаны с обновленным толкованием некоторых универсальных категорий – например, центр и периферия, регион, окраина и область. Таким образом, национальной политикой в общем смысле можно именовать политику в отношении разнородных групп полиэтнического и поликонфессионального имперского организма. Так, несмотря на доминировавшую в имперской науке концепцию о триедином «русском» народе, значение и место каждой из трех частей в его составе были определены как неравные – с очевидной иерархией, основанной на близости к этническому ядру, по терминологии А. Каппелера, современного австрийского исследователя Российской империи. На пограничье этническая идентичность зачастую замещалась религиозной, что повлияло на восприятие белорусов и украинцев-униатов как «нерусских» (с. 27).

Статус «главного» и нациеобразующего этноса был присвоен только великорусскому народу как основателю Московской, а затем и имперской государственности. Концепт «единого русского народа» отражал сложившиеся в сознании политической элиты и интеллектуалов представления о внутренней целостности, религиозном единстве и незначительности этнокультурных или региональных различий русского (т.е. великорусского, украинского и белорусского) крестьянства (с. 29).

В очерке С.С. Лукашевой «Малороссия и малороссияне в Российской империи в XVIII в.: стратегии интеграции» анализируются основные направления имперской национально-культурной политики преимущественно в отношении земель гетманата, поскольку они обладали автономией и могли претендовать на особое отношение в рамках многонационального Российского государства.

В XVIII в. украинские земли не составляли единого целого. С середины XVII в. они были разделены по Днепру между Речью Посполитой и Россией, исключением являлся правобережный Киев с окрестностями, отошедший к России по «вечному миру» 1686 г.

Большая часть Правобережья была включена в состав Российской империи только после второго раздела Речи Посполитой (1793).

Левобережье характеризовалось отсутствием административного единства, а его региональное членение отличалось крайней неустойчивостью, хотя общие границы гетманата или Малороссии оставались неизменными вплоть до 1764 г. Южные полупустынные земли, граничившие с Крымским ханством, контролировались запорожскими казаками, формальное присоединение Запорожья к России произошло в 1733 г., а с 1750 г. Запорожская Сечь переходит в подчинение гетманской администрации. Как административная единица Сечь была ликвидирована в 1775 г.

Слобожанщина, заселенная выходцами с северных и западных земель, складывалась вблизи Белгородской засечной черты и прирастала за счет Дикого поля (приграничной территории между Россией и Крымским ханством). Хотя эта территория имела региональные особенности, сближавшие ее с гетманатом, она относилась непосредственно к Российскому государству и находилась под управлением Разрядного, а не Малороссийского приказа (с. 56).

Наконец, в 1752–1764 гг. между гетманатом и Запорожьем образуются Новая Сербия и Славяносербия, заселенные преимущественно выходцами из Сербии и Валахии, а также создается Новослободский казачий полк. В 1764 г. на этих территориях была учреждена Новороссийская губерния.

В начале XVIII в. сословная стратификация Малороссии включала в себя духовенство, шляхту, жителей самоуправляемых городов, а также крестьян и обитателей частновладельческих поселений, подавляющее большинство которых были лично свободными. В 1708 г. была создана Киевская губерния, в которую вошла не только Малороссия, но и Слободская Украина, что, по мнению некоторых историков, и стало причиной перехода гетмана И. Мазепы на сторону короля Швеции Карла XII. В Российской империи в 1719 г. вводилось гражданское административное деление, единое для всей страны и распространенное на украинские территории в 1722 г., после смерти гетмана И. Скоропадского. В целом годы правления Петра I стали переломным этапом в позиции имперских властей относительно статуса украинской автономии, временем, когда договорной принцип отношений сторон уступил место «указному». В 1764 г. произошло окончательное упразднение должности гетмана, но только в 1782 г. в Малороссии были введены общероссийские принципы управления, а в 1785 г. на нее распространилось действие Жалованной грамоты дворянст-

ву, полностью уравнивавшее статус местного дворянства с общероссийским.

Малороссийская правовая система включала в себя нормы Литовского статута, Магдебургского, Хелминского, Саксонского и обычного права, а также отдельные установления российского законодательства, которые зачастую противоречили друг другу. Компильция «Права, по которым судится малороссийский народ», составленная к 1743 г., использовалась в повседневной судебной практике гетманов и имела хождение в рукописных списках, но не была признана в качестве официального российского нормативного документа (с. 67).

Политические воззрения казацкой старшины нашли свое выражение в так называемом казацком летописании, которое включает целый пласт хроник, летописей, исторических и публицистических сочинений представителей политической элиты Левобережья XVIII – первой половины XIX в. Завершает этот ряд сочинений «История руссов или Малой России» начала XIX в., авторство которой приписывают архиепископу Георгию Канискому.

Идеальные отношения общества с государством описываются как минимальное вмешательство или формальный патронат, которым пользовались казаки в Речи Посполитой до конца XVI в. Подобное положение дел якобы было зафиксировано в договоре Богдана Хмельницкого и царя Алексея Михайловича (поскольку подлинный текст договора был в Малороссии неизвестен) (с. 69).

Чаяния казацких летописцев нашли отражение в программе, выдвинутой сторонниками гетмана И. Мазепы: формальный патронат другого государства (Швеции), реальное самоуправление, свободные выборы гетмана при полном соблюдении старинных прав и привилегий старшины.

Летописцы практически не затрагивали современных событий и не предлагали оценок окончательной ликвидации особого положения Малороссии в составе Российской империи или позитивных последствий растущей экономической и политической интеграции, социальной стабилизации, ликвидации военной угрозы с запада и юга. «Большинство представителей малороссийской политической элиты как внутри Российской империи, так и за ее пределами оказались в идейном тупике и склонялись к глубоко консервативным взглядам» (с. 71).

Со стороны российских властей административных мер по поводу широкого хождения рукописных списков казацких хроник

или «Прав, по которым судится малороссийский народ» не предпринималось. За «изменническими настроениями» гетманов и старшины внимательно следили и направленные из столицы резиденты, и коменданты военных гарнизонов, и представители конкурирующих родов, но пока оппозиционность не вела к явному политическому или военному противостоянию с империей, малороссийская знать не подвергалась репрессиям.

Способом регуляции интенсивности культурного обмена выступала и миграционная политика. Для первой половины века со стороны малороссийских властей характерны проявления политики самоизоляции, в середине века большинство южан осознали новые возможности, связанные с интеграцией в структуры Российской империи. Конец века ознаменовался сменой политических ориентиров: средоточие власти окончательно переместилось в Санкт-Петербург, а Малороссия стала восприниматься как окраина и провинция.

В качестве проводников великорусского культурного влияния можно рассматривать немногочисленных дворян из центральных губерний, проходивших службу или приобретших земли в Малороссии, хотя вновь прибывшие рассматривались скорее враждебно, как конкуренты местной старшины.

Важнейшими из векторов «украинского влияния» автор считает рекрутацию духовенства, представители которого призывались в великорусские монастыри и учебные заведения, а также для службы на флоте. Не столь многочисленной, но более влиятельной в культурном отношении была группа преподавателей академий и школьных учителей, которые работали практически во всех учебных заведениях Российской империи XVIII в. Третьей когортой можно считать светских переводчиков и делопроизводителей, которых приглашали как в государственные учреждения (Сенат, Синод, Коллегию иностранных дел, а также в дипломатические миссии), так и на службу к влиятельным частным лицам.

Языковые процессы также были «двунаправленными», поскольку как русский язык проникал в Малороссию, так и малороссийский – в Россию. «Сложность в оценке языковой ситуации в Малороссии состоит в том, что в XVIII в. на ее территории постоянно использовались три письменных языка: церковнославянский, “проста мова” (синонимы – староукраинский, западнорусский письменный язык, канцелярский язык восточных славян, руська мова, рутенская мова, русинский язык) и великорусский» (с. 80). Церковнославянский язык был не только языком богослужения, но

и маркером принадлежности к просвещенному сословию и сугубо православной образованности. «Проста мова» была языком делопроизводства и выполняла функции литературного языка. В ходе постепенного сокращения автономии в Малороссии в составе империи «проста мова» неизбежно вытеснялась в бытовую сферу, а в XVIII в. она уже не могла соперничать с русским языком даже в границах гетманата.

Тем не менее напоминает автор, в начале века Киевско-Могилянская академия была единственным высшим учебным заведением в России, а московская Славяно-Латинская академия не составляла ей конкуренции ни по численности учеников, ни по количеству преподаваемых дисциплин. Академия подчинялась киевскому архиерею, а с 1721 г. – Святейшему синоду. Но только с 1765 г. было введено преподавание русского языка по правилам Санкт-Петербургской академии наук. В ряде исследований благожелательное отношение ко всему малороссийскому связывается с личными предпочтениями императрицы Елизаветы Петровны. Кроме того, система образования, где преподавали выпускники – выходцы из Киева, также была каналом распространения малороссийского влияния. Ограничения в употреблении «простой мовы» касались лишь книгоиздательской деятельности, что во многом было обусловлено не русификаторской политикой, а теорией литературных жанров того времени. Кроме того, потенциал великорусского книжного рынка тогда был значительно выше.

Культурная политика на институциональном уровне не могла обойти своим влиянием церковь. С 1684 г. Киевская митрополия вошла в состав Московского патриархата, но уже с середины XVII в. влияние «киевлян» на русскую церковь нарастало. «Некоторые исследователи считают, что именно желание сблизить обрядовую и богослужебную практику Москвы и Киева привело патриарха Никона к необходимости осуществления церковной реформы» (с. 89). В современной украинской историографии практически не комментируется тот факт, что спустя непродолжительное время после выезда из гетманата представители «гонимого киевского православия» становились той самой «центральной церковной властью» и русификаторами.

Экономическая и социальная интеграция в империю, оказавшая ощутимое воздействие на общественное сознание населения Малороссии с 1720-х годов, привела к повышению притягательности великорусской карьеры для киевского духовенства и способствовала формированию общегосударственного, общим-

перского самосознания, которое начинает постепенно вытеснять региональную и этнокультурную идентичность.

Вместе с тем этническая компонента не была окончательно нивелирована и отчетливо осознавалась как самими малороссийскими архиереями, так и великорусскими светскими и духовными властями. «На протяжении XVIII в. архиереи-малороссы представляли собой многочисленную и влиятельную силу: их число составляло около 60% списочного состава епископата, они постоянно занимали большинство мест в высших церковных органах власти, в первую очередь в Святейшем Синоде» (с. 94).

XVIII век в истории Русской православной церкви стал периодом превращения церкви национальной, церкви русских, в церковь российскую. Преодолению русского этноцентризма и представлений об этнической исключительности способствовали выходцы из Малороссии, которые формировали образ и структуру этой новой имперской церкви, заключает автор (с. 96).

По мере утраты Малороссией роли посредника и культуртрегера в сфере образования и культуры и с формированием новой имперской элиты, напрямую обращавшейся к европейским научным и культурным достижениям, к XIX в. Украина постепенно превратилась в одну из окраин Российской империи.

Представления региональных политиков и политика имперских властей в первой половине XIX в. на землях Правобережной Украины рассматривает в своем очерке «Земля, текущая молоком и медом...» А.О. Остапчук. Украинские земли, вошедшие в состав Российской империи по второму разделу Речи Посполитой вместе с белорусско-литовской ее частью, в имперском дискурсе довольно долго именовались «бывшими польскими». Лишь к середине XIX в. в официальной сфере за ними закрепилось обозначение «Западные губернии» (с белорусско-литовскими землями) или более узкое «Юго-Западный край» для собственно украинских земель. Они определялись при помощи региональных терминов Волинь, Подолье, Украина, в полном соответствии с польской традицией. Последний термин в соответствии с имперской логикой и в обобщенном смысле гораздо чаще заменялся Малороссией, изначально использовавшейся для обозначения левобережных земель.

Лишь к концу XIX в. закрепляется чрезвычайно важный для польского (в том числе современного) дискурса об Украине термин «кресы», позже с заглавной «Кресы», и происходит концептуализация термина: «Будучи первоначально тесно связанным с идеей защиты пограничья, понимаемом в историко-пространственном и

культурно-цивилизационном смысле, понятие приобретает важные оценочные коннотации, устанавливающие связь с польским национальным мифом и концепцией культурно-исторического единства (и будущего воссоединения) этих земель с Речью Посполитой в ее границах до разделов» (с. 160).

Собственно украинский актор в этом пространстве остается «безмолвствующим» до середины XIX в., считает автор, а затем воспринимает название «Правобережная Украина», отражающее собственно украинскую топографо-географическую перспективу: расположение региона по отношению к Днепру. В первой половине столетия происходит столкновение разных концепций современной (национальной и наднациональной) идентичности, разрабатываемых «сверху» имперской российской элитой и региональной польской, и противостоящей им «снизу» традиционной (этнографической) идентичности украинского населения, по преимуществу крестьянского (с. 161). Вместе с тем важным элементом утверждения российского управления и обоснования законности притязаний на «издревле русские владения» являлась апелляция к традиционной конфессиональной («православной») и этноязыковой («русской») общности, что имело особое значение в условиях неоднократных переходов «из унии в православие и обратно».

«Изобретение Украины» произошло практически одновременно в трех национальных парадигмах (русской, польской и украинской) и предполагало «открывание» не только народных традиций и фольклора, но и народного языка. Одним из текстов, ставших прецедентным для украинского языка и украинской культуры в целом, в 1840 г. стал «Кобзарь» Т. Шевченко.

Языковая политика и административная практика Российской империи в Правобережье не была ориентирована на резкие изменения в структуре коммуникации. Делопроизводство западных губерний оставалось преимущественно польскоязычным, а в судах русский и польский языки использовались фактически параллельно.

Особую роль в поддержании высокого статуса польского языка играла система образования на Правобережье, которая и после разделов оставалась польскоязычной, тем более что руководство Виленского учебного округа в начальный период его существования было польским. Ситуация в учебных заведениях кардинально меняется только после подавления восстания 1830–1831 гг. и фактического уничтожения польской системы образования. Польские

учебные заведения были закрыты, учителя уволены, а на их месте организованы русские школы и гимназии.

Украинский язык в первой трети XIX в. присутствовал только в сфере повседневного общения и использовался, как правило, представителями низших сословий. Для крестьян – носителей местных подольско-волинских говоров, знание польского языка было скорее всего пассивным, являясь необходимым условием внешней коммуникации, например в общении с управляющим или для участия в судебном разбирательстве.

Высшие сословия владели скорее польско-русским билингвизмом, необходимым для карьерного роста, особенно за пределами региона. «Таким образом, – заключает автор, – тенденция к смене (под внешним давлением) польского языка на русский, наблюдаемая в первой трети XIX в., не отменяет ни сохранения за польским языком культурного престижа, ни наличия польско-украинского декларативного билингвизма в качестве своеобразных способов противодействия официальной языковой политике» (с. 204).

М.В. Лескинен рассматривает возникновение научных представлений об общности русского народа, сосредоточиваясь на вопросах исторической топонимии и этнонимии (последняя треть XVIII – первая половина XIX в.). Концепция «триединства русского народа», пишет автор, изучается в течение нескольких столетий. Ее историография проходила разные стадии, всегда находясь в центре полемики – о политике и об идеологии, о специфике «русского пути», о русофобии, – попадая в центр не только научных, но и общественных обсуждений. В конце XVIII – начале XIX в. данный вопрос явно не представлялся остроактуальным для исторических исследований, так как в центре внимания находилась проблема более масштабная – этногенез руссов / руссо-славян в связи с началом государственности, что было актуально для осмысления прошлого Российской империи с точки зрения ее историко-политического и этнокультурного наследия и преемственности.

Важным стимулом стали и разделы Речи Посполитой, которые, включив в состав Российской империи «исконно русские земли», нуждались в мощной исторической аргументации, что в том числе предполагало обращение к территориально-политической истории Великой, Малой, Белой Руси (России) – с точки зрения своеобразия составных частей русского народа. В анализе этнонимов периода складывания национального самосознания и национальной идеологии всегда присутствует смена интерпретационных

стратегий, а «интерпретация этнических номинаций... – всегда процесс субъективно-оценочный и манипулятивный», – подчеркивает автор (с. 103). Сегодня изучение эволюции топонимов трех восточнославянских народов осуществляется только в поле междисциплинарного исследования – методами лингвистики, исторической этнографии, этнопсихологии и других дисциплин.

На протяжении XVIII–XIX вв. понятие «русский народ» подвергалось уточнению, дифференцировалось, будучи связанным, во-первых, с формированием концепта русскости как выражения национального облика и характера русского народа (в его крестьянской «простонародной» и внесловной «имперской» ипостасях), а во-вторых, с поиском этнокультурного своеобразия каждого из трех «племен» («отраслей», «поколений») восточнославянского населения России. В крестьянской среде понятие было почти синонимично понятию «православный» (с. 108).

В конце XVIII – первой половине XIX в. исследователей гораздо больше занимал вопрос о землях, входивших в состав Великой, Малой, Белой, Червонной и Черной России. В этнонимии восточнославянских народов представлены «топонимы» или этнонимы с «топографическим значением основы». Названия такого рода обычно имеют внешнее (данное извне), а также книжное происхождение, т.е. являются плодом труда национальной элиты, ее представлений о географическом и ментальном пространстве Великой Руси / Великороссии и ее жителях. Трактовка появления и использования топонимов «Великая», «Малая», «Белая», «Черная и Красная» Русь / Россия и их привязка к карте остаются спорными до настоящего времени.

Истоки концепции «триединства русского народа» восходят к XVIII в., к эпохе Просвещения восходит и осмысление образованной частью общества истории русского языка, проблемы соотношения антропологического, языкового и самобытно-культурного факторов формирующейся национальной общности и ее идентичности. Разработка и интерпретация понятий, связанных с терминами «Русь», «Россия» имели скорее идеологический характер, как важный аргумент в полемике о происхождении русской государственности, одним из аспектов которой было обсуждение «норманнской теории».

Дискуссия XVIII в. между академиками Г.Ф. Миллером и М.В. Ломоносовым о происхождении этнонимов «русь» и «русские» привела к разработке концепции появления «славяно-россов» на землях Московского государства – ядра будущей Им-

перии – и оказала определяющее влияние на исторические и лингвистические изыскания XIX столетия, посвященные формированию русского этноса, однако до 1830-х годов обсуждение велось без привлечения данных о состоянии современных русских в этническом отношении (с. 112).

В 1820–1850-х годах характерные для предшествовавшего века понятия «великороссияне» / «малороссияне» продолжали активно использовать в качестве синонимичной пары «северноруссы» / «южноруссы». Подобная категоризация «россиян» в широком смысле – в противопоставлении европейцам – была воспринята деятелями русской культуры после Отечественной войны 1812 г. и особенно укрепилась в 1820-е годы.

«В этнографическом дискурсе первой половины столетия наиболее частотными оказываются этнонимы а) южнорусы и его варианты (южнороссы, южные русы и др.) и прилагательные (южнорусский, южноросский) и б) малороссияне (и его дериваты). Этноним “украинец” и определение “украинский” также встречается в этом комплексе источников, но значительно уступают по частотности первым двум, а по содержанию им тождественны. При этом многие авторы прямо указывают на то, что южноруссы, малороссы и украинцы – одно и то же племя» (с. 131). Зафиксированные в этнонимии отличия русских «южан» и «северян», отражающиеся в характерах двух групп или их этнокультурной специфике, связанные с природой страны, характерны для исторических работ вплоть до конца XIX – начала XX в. (с. 140).

Одним из первых исследователей, зафиксировавших происхождение и бытование в научной литературе понятия «Великая Россия», стал Н.И. Надеждин. Один из основателей российской этнографии, он следовал за теми отечественными географами конца XVIII в., которые отождествляли Великую Россию с северо-восточными областями Европейской России и Владимирско-Московским центром. Заслугой Надеждина стало максимально полное освещение всех наиболее важных публикаций и анализ состояния исследований по данному вопросу к концу 1830-х годов. Кроме того, он первым четко разделил историческое, географическое и этнографическое значение термина (с. 142).

Надеждин соглашался с предшественниками в том, что термин появился относительно недавно, не ранее середины XVI в., и впервые упоминается в тексте «Апостола» (1556) и чине венчания на престол царя Федора Иоанновича. Форма была заимствована из византийских источников, обозначавших различие между Малой и

Великой Грецией как землями метрополии и колонии. Созданная «книжниками», представителями духовенства, она первоначально не имела значения политонима, а использовалась в качестве риторической фигуры прославления Российского государства и правителя. В качестве политонима впервые словосочетание «Великая Россия» было использовано в донесении 1654 г. гетмана Богдана Хмельницкого о присяге Войска Запорожского на верность царю Алексею Михайловичу.

Определение «Малая Русь» Надеждин соотносит с наименованием Галицкого королевства, а первое упоминание находит в грамоте Юрия Галицкого 1335 г. для отграничения своих земель от общей территории России.

Узкий состав или центр великорусской области ученый считал корректным ограничить границами Московского княжения 1462 г. (т.е. до восшествия на престол Ивана III). Спустя полстолетия, в конце царствования Василия III, под его властью объединились земли Северо-Восточной и Северо-Западной Руси. В последующем «наиболее важным критерием включения в Великороссию оставалась политическая значимость данных территорий: там протекали процессы государствообразования и консолидации земель на разных исторических этапах» (с. 145–146).

В программной статье «Опыт исторической географии русского мира» Надеждин подчеркивал гораздо более важное, нежели географическое, «этнографическое значение» региона – в том смысле, что именно население этой территории сформировало особую разновидность самостоятельной великорусской «отрасли» русского народа, которая сыграла главную роль в создании и укреплении царства, а потом Империи – не просто жизнеспособной, но постоянно колонизирующей новые территории и народы. В конце 1840-х годов в российской географии формируется новая тенденция – стремление напрямую связать пространство Великой России с великороссийскими губерниями.

К первой четверти XIX столетия обозначились три тенденции объяснения происхождения и ареала топонима «Великая Русь» / «Великая Россия», «границы которой стремились определить в первую очередь через этнополитические категории, установив соотношение с геополитическими единицами или областями, сложившимися в истории до и сразу после образования государства Юрика» (с. 151). Согласно одному из подходов, Великую Русь отождествляли с Новгородской, а Владимиро-Суздальскую / Московскую Русь – с Белой Русью. Согласно второй версии, название

Великая Русь существовало на территории, где мигрировавшие славяне смешались с финскими племенами еще до создания государственности. Наконец, для некоторых авторов главным вопросом для определения происхождения населения был вопрос о языке как показателе его этнической идентичности.

В обыденной речи вплоть до начала XX в. у восточнославянского населения Российской империи использовалось название «русский», а понятия «великорусы, малорусы, белорусы» продолжали функционировать и видоизменяться в нормативных текстах / литературном языке (с. 154).

Еще один сюжет о влиянии историко-этнографических и лингвистических исследований на эволюцию представлений о «едином русском народе» М.В. Лескинен анализирует в связи с историей «племенных классификаций». «Начиная с 1840-х годов все более актуальной становилась проблема этнических классификаций “отделов” (“отраслей” или “поколений”) русского народа – в связи с важной для империи каталогизацией (часто этот процесс именуют государственно-экономической “инвентаризацией”) ресурсов и населения, что требовало одновременного выстраивания различного рода классификаций – конфессиональной, этнической, экономико-правовой и сословной» (с. 206).

Задачи масштабного описания пространства Российской империи и ее жителей, остро вставшие в середине столетия, не могли быть осуществлены без привлечения авторитета и методов науки. Создание в 1845 г. Императорского Русского географического общества с отделением этнографии в его структуре знаменовало соединение и совпадение интересов власти и науки. Процесс идентификации – этнокультурной, национальной, имперской, вероятно, доминировал как на уровне индивидуального и общественного сознания, так и в деятельности интеллектуальной и социальной элиты страны.

В научных исторических текстах первой половины XIX в. слово «русский» применялось не столько в качестве этнонима, сколько в качестве политонима или этнохоронима. Например, историк С.М. Соловьев связывал границы Малой, Белой и Великой Руси с речными системами, как области Днепра, Двины и Волги. В.О. Ключевский называл Великую и Малую Русь «этнографическими частями» Русской земли как геополитической территории, считая их своеобразие следствием миграционных (колонизационных) процессов. Регион сосредоточения «главной массы русского населения» (т.е. великорусов) определяет периодизацию у Ключ-

чевского – четыре периода русской истории по доминировавшему государственно-политическому центру: днепровский, верхневолжский, великорусский и всероссийский. Верхневолжский этап историк ограничивает XIII – серединой XV в., когда главная масса русского населения обитала на Верхней Волге с притоками. Великорусский охватывает период от середины XV в. до 1620 г., когда основная масса населения растекается на юг и восток, и великорусское племя соединяется в одно политическое целое под властью Московского государства (с. 209).

Стереотипным для народоописаний начиная с 1840-х годов и вплоть до конца столетия является утверждение о бесспорном отсутствии славянской «чистоты» антропологического облика и у великорусов, и у малорусов (в отличие от белорусов). Если для великорусов отмечалось и подчеркивалось продолжительное смешение с финским населением, то на малорусов не подлежало сомнению антропологическое влияние «азиатцев», включая как «обитателей Кавказа», так и тюрок.

Для лингвистической классификации восточнославянских языков в начале XIX в. использовался такой критерий, как понимание устной речи, что влияет на избрание «господствующего», т.е. государственного языка, разделившегося на наречия, но взаимопонимаемые: новгородец легко мог понять сибиряка, а оба они – малороссиянина и белоруса. Еще одним ключевым вопросом того времени стала проблема соотношения церковнославянского, «коренного» или общего славянского и русского языков. Большинство ученых считали, что хотя церковнославянский книжный язык и был ближе к коренному, родоначальнику всех славянских языков, происходил он все-таки от «русского особенного наречия» (с. 228).

В работе А.Ф. Аделунга, вышедшей в 1820 г., одном из серьезных, но далеко не первом исследовании «русских наречий», было выделено всего два – суздальское и украинское. П.И. Кеппен в критическом обозрении труда коллеги выделял большее число наречий, в зависимости от включения в состав населения того или иного региона народов неславянских языковых групп, но методика выявления заимствований была самой сложной и спорной частью идентификации языка. Отношение к малороссийскому наречию как к русскому, «испорченному» польским влиянием, было довольно распространено в первой трети XIX в.

В 1860-е годы в российской публицистике стала преобладать концепция взаимообусловленности этнической и языковой иерархий, согласно которой самостоятельный национальный язык есть

свидетельство достижения высокого уровня общественного и политического развития того или иного народа, и язык стал восприниматься главным критерием национальной принадлежности.

«"Русские" в таком аспекте – господствующая в политическом и культурном отношении группа полиэтнической Империи и / или общее именование ее подданных. Термин использовался для определения вне- или надсословной идентичности народа, "избравшего" политической формой бытия самодержавную Империю» (с. 251). Русскость в общественных представлениях XIX в. в сословном и этническом отношении трактовалась шире «великорусскости». Причины семантического сдвига, приведшего к устойчивой синонимии («великорус» = «русский»), трудно установить однозначно, считает М.В. Лескинен. «Авторы, выступавшие сторонниками украинского национального проекта или поддерживавшие западнорусские либо белорусские националистические концепции раннего выделения белорусов или отождествления их с литвинами, – равно как и большая часть русских ученых, изучавших русских как интегрированную общность с региональными отличиями, – стремились к обнаружению и систематизации научной аргументации, позволявшей отстаивать политико-идеологические построения» (с. 252). Причинами разных точек зрения являлись не столько политизация науки или индивидуальные убеждения ученых, сколько состояние развития самой науки – трактовка ею предметного поля, методологии исследования и критериев верификации знания, заключает автор.

Два очерка в сборнике посвящены «зарубежной Украине» – украинским землям в составе Австро-Венгрии. М.Э. Клопова характеризует внешнеполитический аспект украинского вопроса в контексте российско-австрийских отношений. Основное внимание уделяется позиции российского внешнеполитического ведомства в отношении национальных движений восточнославянского населения Галиции и отчасти Буковины. С началом разделов Речи Посполитой в 1772 г. под властью Габсбургов оказались часть воеводств Южной Польши, большая часть Краковского и Сандомирского воеводств и большая часть так называемых «русских земель». Окончательные границы австрийских владений были определены на Венском конгрессе. В 1850 г. после присоединения Кракова к Австро-Венгрии из польских и «русских земель» была создана отдельная провинция – Королевство Галиции и Лодомерии. Своим происхождением название новой провинции было обязано древнему Галицко-Волынскому княжеству. Восточнославян-

ское население проживало в восточной части провинции, поляки – в западной. Критерием этнической принадлежности при проведении переписи 1910 г. был язык. К Галиции еще в 1786 г. была присоединена Буковина, но позднее она получила статус герцогства, сохраняя автономию. Славянское население здесь составляло 35–40%, а в северных регионах достигало 54% (с. 258).

В период габсбургского правления был введен термин «русины» (Russen) или рутены (Ruthenen). Этноним «русины» использовался и в официальных российских документах, в научной литературе и публицистике восточнославянское население Габсбургской монархии именовали «рускими». «По мере развития в регионе украинского движения его активисты говорили сначала об “украинско-руском народе”, а затем об украинском народе Галиции: в XIX – начале XX вв. понятия “украинский, украинец” имели не этническое, а национально-политическое значение», – считает автор (с. 258).

В Галиции наиболее развитым и влиятельным было польское национальное движение. В среде восточнославянского населения основное соперничество развернулось между украинским и пророссийским направлениями. Участниками украинского движения Галиция воспринималась как элемент единой «соборной Украины», а «руское» население провинции – как часть единого и самостоятельного украинского народа. В начале XX в., в предвоенные годы украинское движение расценивалось крайне негативно, и одной из основных задач российской политики в регионе признавалось противодействие ему. При этом традиционное для российских наблюдателей восприятие движения в качестве польской или австрийской креатуры сменилось признанием его самостоятельности и возрастающей роли во внутренней политике как Галиции, так и Австро-Венгрии в целом (с. 308).

Галицкие, угорские и буковинские русины во второй половине XIX – начале XX в. выступали объектом особого внимания российской церкви. Сложные процессы конфессиональных взаимодействий характеризуются в очерке М.Ю. Дронова. Несколько очерков посвящены различным проблемам взаимодействия Украины с федеральным центром в составе Советского Союза.

Т.Б. Уварова

Гатагова Л.С., Трепавлов В.В.

**«ПЕРЕД ТОЛПОЮ СОПЛЕМЕННЫХ ГОР».
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ПОЛИТИКИ
РОССИИ НА КАВКАЗЕ (XVIII–XIX вв.). –
М.: Институт российской истории РАН:
Центр гуманитарных инициатив, 2019. – 289 с.
(Реферат)**

Основная идея книги отчасти раскрыта в самом ее названии. До настоящего времени не утихает «великий спор» среди тех, кого интересует история Кавказа; спорными остаются многие аспекты тысячелетнего развития народов региона. «Ни одна из полемизирующих сторон не желает отступать перед доводами оппонентов», – отмечают во введении авторы: канд. ист. наук Л.С. Гатагова и д-р ист. наук В.В. Трепавлов (Институт российской истории РАН) (с. 9). В книге, представляющей собой переиздание ранее опубликованных в других местах статей, они попытались рассказать о сложных эпизодах российско-кавказских отношений. В центре внимания находятся следующие сюжеты: причины, обстоятельства и последствия заключения Георгиевского трактата о покровительстве Российской империи над Картли-Кахетинским царством (Восточной Грузии); причины и ход массового переселения адыгов с Северо-Западного Кавказа на территорию Османской империи; организация управления северокавказскими территориями после вхождения их в состав Российского государства.

После распада СССР в новых государствах – бывших союзных республиках – имело место радикальное переосмысление исторических событий, связанных с вхождением народов и регионов

в состав России. Сформировалось представление о России как о «типично колониальном государстве, агрессивной и эгоистичной империи, которая зарилась на более слабых соседей, навязывала им свое устройство и образ жизни», – пишут авторы в совместной статье «Россия и Грузия: от православной солидарности к имперскому покровительству» (с. 13).

Историки упоминают о долгое время бытовавшей в советской историографии концепции «наименьшего зла», согласно которой «вхождение в состав “царской России” имело для народов менее негативные последствия, чем пребывание в составе других держав (имелись в виду Турция, Персия, Китай, Польша и др.)» (там же). Данная концепция в некоторых постсоветских государствах получила вторую жизнь, но с обратным знаком – вхождение в состав России оказалось большим злом. Георгиевский трактат 1783 г. о российском покровительстве понимается как средство российской имперской экспансии. В контексте данной полемики авторы раскрывают объективные, исторически обусловленные причины, побудившие царя Картли-Кахетинского царства Ираклия II просить о российском покровительстве, а императрицу Екатерину II удовлетворить его просьбу.

Исторические предпосылки перехода Грузии под покровительство России вызревали на протяжении нескольких столетий. В позднем Средневековье Южный Кавказ стал ареной противостояния двух могущественных государств – Персии и Османской империи. Согласно статьям Амасийского договора 1555 г. Восточная Грузия (Картли-Кахети) отошла к персидским владениям, Западная Грузия – к османским владениям. Начало прямого дипломатического диалога с Россией связано с внешнеполитической активностью кахетинского царя Александра II, послы которого в октябре 1586 г. передали просьбу царю Федору Ивановичу о принятии Кахетии под покровительство. Однако в целом, отмечают авторы, с середины XVII в. и до 1760-х годов грузино-российские связи были довольно слабыми и эпизодическими (с. 20–21).

Авторы подчеркивают такую особенность международных отношений позднего Средневековья, как условность представлений о подданстве, покровительстве и сюзеренитете, что подтверждает «двухсотлетняя эпопея неоднократного присягания в верности русским царям грузинских (а также кабардинских, дагестанских, калмыцких и прочих) владетелей» (с. 24). Обращаясь в Москву за покровительством, грузинские правители видели свой статус сходным с тем вассалитетом, который они имели в государстве

Сефевидов (с внутренней автономией и непререкаемыми правами на престол) (с. 25–26).

При рассмотрении причин неоднократных просьб грузинских царей о переходе под российское покровительство необходимо, считают авторы, учитывать некоторые особенности геополитического положения России, а также ее репутацию среди окрестных народов. Если в XVI и XVII вв. для грузинских политиков на первом месте стояли такие факторы, как православное вероисповедание и военный потенциал Московского государства, то в XVIII в. добавились и другие. При Петре I и его преемниках Россия превратилась в одно из передовых государств с успешно развивающейся экономикой, совершившее ряд блестящих военных побед, тогда как Персия, Османская и Цинская империи оставались государствами с архаичным государственным строем, отсталой экономикой и закоснелым чиновничьим аппаратом.

В 1780-х годах российские рубежи вплотную приблизились к Большому Кавказу. 24 июля 1783 г. в Георгиевской крепости был заключен «дружественный договор» России с царством Картли-Кахети, в преамбуле которого говорилось о «неоднократных прошениях царя Ираклия Теймуразовича о принятии его под покровительство», а также о неисчислимых бедствиях, которые претерпевала Грузия от своих воинственных мусульманских соседей (с. 46).

Авторы рассматривают хронику внешней политики России по отношению к Закавказью при Екатерине II в противостоянии с Турцией и Ираном, «династические распри» при дворе Ираклия II, завершившиеся победой сторонников полного сближения с Россией. 18 декабря 1800 г. Павел I подписал манифест «О присоединении Грузинского царства к России», лишивший династию Багратионов прав на престол. Манифест Александра I «об учреждении внутреннего в Грузии управления» от 12 (24) сентября 1801 г. «поставил точку в длительной, полной драматических событий и противоречий истории сближения и объединения Российской империи и Картли-Кахетинского царства» (с. 77). В 1803–1810 гг. на условиях сохранения почти полной своей власти в российское подданство перешли правители княжеств и царств Западной Грузии.

В следующей совместной статье Л.С. Гатаговой и В.В. Трепавлова рассмотрена история мухаджирства – массового исхода коренного населения с Северного Кавказа в Османскую империю в конце Кавказской войны 1817–1864 гг. и в последующие десятилетия XIX в.

Авторы дают характеристику нескольких адыгских этнотерриториальных групп, известных под собирательным этнонимом «черкесы». Одни из них локализовались на равнинах, в низовьях рек Кубани и Лабы, другие – в предгорных и горных местностях, прилегающих к Черноморскому побережью (абадзехи, шапсуги, натухайцы, убыхи, бжедуги и ряд других более мелких субэтнических групп). Считая себя неподвластными султану, черкесы отказались признавать условия Адрианопольского договора 1829 г., по которому их территория отошла к России. Они раскололись на две партии – пророссийскую и антироссийскую. Черкесы, особенно горные, отвечали на российское военное присутствие регулярными вооруженными вылазками. Жестокость набегов и военных экспедиций оборачивалась усугублением взаимного неприятия. Более умеренно настроенные черкесы (в первую очередь, знать) постепенно склонялись к признанию власти России. Авторы отмечают, что предпочтение черкесами той или иной внешней силы (России или Турции) зависело от места проживания (далеко или близко от Кавказской линии), источников дохода (торговля с русскими или турками), личного опыта (положительного или отрицательного) общения с российской администрацией и т.д.

Авторы прослеживают хронику участия черкесов в Кавказской войне, характеризуют итоги Крымской войны, в результате которой Черкесия была признана частью Российской империи, отмечают все усиливавшееся вмешательство Англии, Франции и Турции в черкесские дела; описывают ход военных кампаний 1857–1859 и 1862 гг. Отмечают, что в стратегии российского командования практика спонтанных карательных экспедиций в начале 1840-х годов сменилась тактикой устройства и последовательного заселения кордонных линий (с. 87).

Авторы раскрывают причины и побудительные мотивы мухаджирства черкесов. Предпосылки мухаджирства, как и факторы, толкавшие адыгов к выезду за границу, зрели в течение длительного времени и не сводились к инициативе одного из кавказских генералов. «К военным поражениям добавился тяжелый психологический настрой коренного населения, которое столкнулось с перспективой подчинения победителям, наплыва множества русских поселенцев и крушения привычных унаследованных от предков жизненных устоев» (с. 114). Авторы подчеркивают огромную роль адыгской знати в разжигании эмигрантских настроений. «Выход виделся в том, чтобы эмигрировать в турецкие владения, в пределы исламской державы, представлявшей в проповедях кав-

казского мусульманского духовенства обетованной землей, приютом для бедствующих единоверцев» (с. 117).

В России среди высшего военного и чиновничьего начальства существовали два подхода к решению проблемы. Одни выступали за сгон кавказцев из труднодоступных ущелий и вытеснение к Черному морю, и таким образом ставили их перед выбором: переселяться подальше от границы на Кубань или в Турцию. Другие считали целесообразным постепенное подчинение племен, хозяйственное вовлечение их в империю и сохранение за ними хотя бы части земель во избежание новых конфликтов (с. 117–118). В целом возобладал план генерала Евдокимова: «Удалить поскорее за границу всех туземцев, желающих переселиться в Турцию» (цит. по: с. 118).

Авторы указывают, что историки неоднократно пытались определить количество кавказских эмигрантов в Османской империи. Они приводят данные А.П. Берже, согласно которым число горцев, выехавших с восточного берега Черного моря в 1858–1865 гг., составило 470 703 человека, а вместе с чеченцами – 493 194 человека (с. 125).

Суровая реальность, с которой столкнулись черкесы в Турции, абсолютно не соответствовала их надеждам на сытую и спокойную жизнь под властью султана. Горцы желали жить в Стамбуле или Трапезунде, однако Порты наметила для них гораздо более обширную географию: на мятежных Балканах – в качестве противовеса местным славянам и «первого эшелона» на случай очередной войны с Россией; в восточных провинциях Малой Азии, чтобы сдерживать армян и курдов; в Палестине – против бедуинов, алавитов и друзов; в Средиземноморье – против греков. Дагестанцев и чеченцев селили возле Стамбула для охраны столицы.

Авторы констатируют, что уже в самом начале массового исхода кавказцев среди тех, кто уехал в Турцию, стали обнаруживаться реэмигрантские настроения. Российские власти возражали против возвращения мухаджиров, так как это грозило большими финансовыми издержками и осложнениями отношений с Портой. И хотя поначалу массовое мухаджирство адыгов приветствовалось российскими властями, со временем многолюдный исход стал вызывать беспокойство. По данным кавказского наместника, к концу войны осталось не более 30 тыс. адыгов обоего пола (и еще около 40 тыс. переселились на Кубань) (с. 134). Да и турецкая сторона «пресытилась притоком новых подданных с Кавказа» (с. 135). В апреле 1865 г. она официально уведомила Петербург об отказе

принимать переселенцев без предварительного согласования. В декабре 1865 г. кавказский наместник распорядился запретить массовое переселение. Кавказское мухаджирство как массовое явление прекратилось, а выезд в Турцию в последующие годы осуществлялся главным образом под предлогом паломничества в Мекку.

Еще одна статья Л.С. Гатаговой и В.В. Трепавлова посвящена административной политике на Северном Кавказе, который «изначально являлся самостоятельным объектом государственно-административной политики российского правительства, со своим арсеналом методов и средств управления» (с. 148). Официальные основания для распространения юрисдикции России на Северный Кавказ, отмечают авторы, появляются после Кючук-Кайнарджийского и Ясского русско-турецких договоров, т.е. в конце XVIII в. Реальная власть приходит в этот регион лишь в XIX в. При слабости коммуникативных средств, огромных расстояниях, слабой заселенности обширных пространств адаптация присоединенных территорий к общегосударственным стандартам подданства и управления происходила медленно и растянулась на полтора-два столетия (с. 146–147).

Процесс становления и развития кавказской политики авторы условно делят на три этапа. На первом этапе (последняя треть XVIII – первая треть XIX в.) «действия властей не выходили за рамки внешнего контроля и поощрения торгово-хозяйственных связей горцев с переселенцами из внутренних губерний» (с. 184). Первые военно-административные центры империи на Кавказе (Кизляр был основан в 1735 г., Моздок – в 1790-е годы) позднее стали ключевыми пунктами Кавказской укрепленной линии. Вдоль нее насаждались казачьи станицы – для охраны и обороны рубежей империи. В 1785 г. было учреждено Кавказское наместничество (включало Астраханскую и Кавказскую губернии).

Авторы пишут, что уже на первом этапе освоения Кавказа начала формироваться система особых административных и судебных учреждений по управлению кавказскими народностями. В 1816 г. в должность главноуправляющего вступил А.П. Ермолов, получивший от Александра I огромные полномочия, позволившие ему самостоятельно формировать кавказскую политику. В районах, населенных мусульманами, Ермолов заменял местных правителей русскими чиновниками, ханства переименовывал в губернии, вводил в административном порядке российскую систему управления (с. 155). Однако с началом Кавказской войны админи-

стративное строительство было парализовано на несколько десятилетий. Авторы подчеркивают, что Ермолов с первого дня осуществлял жесткий курс, и его силовые методы не могли не вызвать противодействия, что и продемонстрировала вспыхнувшая Кавказская война.

В 1827 г. вышло в свет «Учреждение для управления Кавказской областью» – первое положение, регламентирующее систему управления Кавказом на всех уровнях. Бывшая Кавказская губерния превращалась в область и подпадала под единое с Грузией управление. Главнокомандующий наделялся военными, административными, хозяйственными, финансовыми и судебными полномочиями. Характерной чертой созданной структуры, отмечают авторы, было наделение военных властей правами и обязанностями гражданской администрации. Все окружные начальники являлись военными чиновниками.

Авторы пишут, что на каждом этапе политико-административного освоения Кавказа стратегическое направление правительственного курса во многом определяли взгляды конкретных правителей края, которые часто придерживались диаметрально противоположных представлений о способах и формах интеграции Кавказа.

Второй этап кавказской политики охватывает 1830–1850-е годы. Сменивший Ермолова И.Ф. Паскевич «считал целесообразным немедленно распространить российскую административную систему на Кавказ, не оглядываясь на местные реалии» (с. 159). Главноуправляющий Г.В. Розен попытался вернуться к принципам политики, выстраиваемой с учетом внутрирегionalных особенностей Кавказа.

В январе 1845 г. Николай I принял решение об учреждении Кавказского наместничества. В пределах Кавказского региона наместник пользовался властью, сопоставимой с министерской. Создание наместничества повлекло за собой радикальные перемены в правительственной политике. Регион был поделен на губернии, именовавшиеся по названию главных городов. Авторы подчеркивают, что «особенно благоприятно на функционировании новой системы управления сказалось привлечение представителей местного населения в низовые органы власти, что способствовало росту доверия и стимулировало желание кавказских жителей служить России» (с. 162).

Опытный государственный деятель, наместник М.С. Воронцов придерживался принципов так называемой регионалистской политики, основывающейся на признании местных традиций и социокуль-

турных особенностей и ориентированной на создание особых институтов управления и контроля, учитывающих приоритетное значение всех этих факторов. Важной составляющей курса Воронцова стала практика инкорпорации местной знати в состав российского правящего класса. Однако деятельность Воронцова, замечают авторы, направлялась в основном на Закавказье, поскольку в районах Северо-Западного и Северо-Восточного районов Кавказа продолжалась война. «Тем не менее наместнику удалось добиться некоторых сдвигов в процессе административного строительства даже в охваченных боевыми действиями районах» (с. 164).

С именем наместника Кавказа А.И. Барятинского (1856–1862) связана значительная веха в истории кавказской политики Петербурга, пишут авторы. Однако, по их мнению, «экспериментирование на ниве управления в конечном итоге расшатало и без того достаточно хрупкую конструкцию административной системы Кавказа» (с. 167).

Оценивая роль института наместничества, авторы отмечают, что он не ущемлял прав военных властей осуществлять административные и гражданские функции в отношении горских народов, он лишь «способствовал упорядочению сложившихся форм управления местными народами и содействовал координации действий военного ведомства в разных местностях края». Однако в годы войны «контроль над жизнью местного социума постепенно становился все более организованным и всеохватным» (с. 184–185). В статье показано, что по мере закрепления российских владений на Кавказе в правительственной политике возобладала тенденция к унификации политико-административной системы региона по российскому образцу.

Авторы полагают, что «говорить о какой-либо последовательности в кавказской политике самодержавия можно лишь в свете стратегической имперской задачи – сохранения региона в составе России» (с. 185). Кавказская административная политика являла собой сплошную чересполосицу директив, циркуляров и практических действий, зачастую весьма противоречивых.

Третий, качественно новый этап административной политики наступил в 1860-е годы. В декабре 1862 г. А.И. Барятинского на посту наместника сменил родной брат императора Михаил Николаевич. Завершив военные операции на Западном Кавказе, великий князь приступил к реализации плана окончательной консолидации кавказских территорий в рамках наместничества. Новый виток реорганизаций знаменовал «поворот верховной власти к реализации

масштабной программы окончательной интеграции Кавказа в государственный организм» (с. 169).

В процессе интеграции Кавказа в Российскую империю приняло активное участие казачество. Заселение станиц происходило по заранее разработанным правилам, для обустройства жителей выделялись денежные пособия, обеспечивались налоговые льготы и т.д. При проведении крестьянской реформы на Кавказе и освобождении зависимых сословий было осуществлено размежевание земель в крае (с. 174). Были предприняты шаги по упорядочению управления конфессиональной сферой и противостоянию исламскому влиянию в регионе.

Период 1880-х годов (время контрреформ после убийства Александра II), сопровождавшийся ужесточением правительственного курса, принес кардинальные перемены в политику на Кавказе. Наместничество на Кавказе упразднялось, регион был включен в единую административную систему России. Приведение Кавказа к статусу рядовой территориально-административной единицы сопровождалось распространением на него действующих во внутренних губерниях законоположений. Данная система управления просуществовала до 1905 г.

Оценивая политику реформ, авторы заключают, что «форсирование процесса реорганизации управления окраинами в 1880-х годах в русле жесткой унификаторской политики правительства нарушило хрупкий баланс внутри административной системы империи, в которой централизованное управление успешно сочеталось с различными моделями управления децентрализованного» (с. 178).

В начале XX в. в условиях бурного общественного подъема масштабы революционного движения на Кавказе со всей остротой поставили перед правительством вопрос о несовершенстве действующей управленческой модели. Правительство приняло решение восстановить институт наместничества. Новый наместник И.И. Воронцов-Дашков отстаивал позиции сторонников регионализма в кавказской политике, провел серию чрезвычайных мер по искоренению причин напряженности, вызванной, в том числе, и недальновидными действиями администрации князя Голицына. Авторы заключают, что возвращение к принципам регионализма, воплощенным в политике М.С. Воронцова в 1840–1850-х годах и возрожденным в годы правления И.И. Воронцова-Дашкова, завершило период борьбы двух тенденций в правительственном курсе: централистской, предусматривавшей скорейшее распростране-

ние российской модели управления на Кавказе, и регионалистской, предполагавшей создание особых форм и механизмов управления, учитывавших социокультурную и правовую специфику региона (с. 184–185).

В следующей статье сборника В.В. Трепавлов на основе преимущественно мемуарных источников повествует о пребывании русских царей и членов царствующих фамилий на Кавказе. Далее Л.С. Гатагова показывает, в каких формах Кавказская война находит отражение в исторической памяти народов Кавказа. Историк с сожалением отмечает, что по причинам прежде всего политического и идеологического порядка само понятие «Кавказская война» приобрело «непомерно широкую коннотацию, став аргументом для недобросовестных (с точки зрения научной объективности) рассуждений о 400-летнем противостоянии России и Кавказа» (с. 202).

Л.С. Гатагова рассматривает Кавказскую войну как явление сложное, многозначное, в том числе в контексте культуры. «Культура стала матрицей, на которой вырастали слагаемые сближения и взаимопонимания», – пишет она (с. 215). Кавказская война заняла заметное место в геополитическом оформлении Российского государства. В этом смысле, полагает автор, она сопоставима с колониальными войнами европейских государств, «не только способствовавшими закреплению их имперского статуса, но и становившимися важной составляющей общенационального духа, фактом культуры» (с. 218).

Сборник завершает статья Л.С. Гатаговой «В плену “Кавказского пленника”», посвященная кавказским сюжетам в русской литературе, публицистике, музыке, в советском и в постсоветском искусстве.

И.Е. Эман

Комзолова А.А.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1772–1914)
(Обзор)

В географическом отношении рассматриваемый регион охватывает земли, которые ранее входили в состав Великого княжества Литовского, а затем Речи Посполитой. Эти территории стали частью Российской империи в результате трех разделов Речи Посполитой 1772, 1793 и 1795 гг. С точки зрения административного деления Северо-Западный край включал в себя к 1914 г. шесть губерний – Виленскую, Витебскую, Гродненскую, Ковенскую, Минскую и Могилёвскую. В период Первой мировой войны 1914–1918 гг. часть этого региона оказалась в зоне оккупации германской армии. Ныне эти земли преимущественно составляют территории современных Литвы и Беларуси.

Внимание к исследованию Северо-Западного края в основном связано с более широким подходом к изучению Российской империи с точки зрения отношений между имперским центром и периферией, а также с точки зрения культурной интеграции национальных окраин и пограничных территорий. В 2000-х годах основное внимание исследователей привлекали практики и дискурсы политики русификации, при этом общим местом стал отказ от концепции русификации в значении тотальной культурной ассимиляции всех нерусских подданных.

Американский исследователь Т. Уикс [8], рассматривая те значения, которые современники, представители высшей бюрократии и образованного общества, вкладывали в понятие русификации, отмечает, что и в пореформенный период идентичность

продолжала формулироваться в большей мере в терминах происхождения, чем личного выбора. В итоге консервативный характер правящих элит Российской империи препятствовал осуществлению программы культурной русификации (понимаемой исследователями как активная замена культуры местного населения на русскую культуру) даже в отношении белорусов, не говоря уже о поляках. Другим определяющим фактором, помимо недостатка необходимых ресурсов, было то, что правящие элиты «никогда не чувствовали себя полностью комфортно в отношении русского национализма» [8, с. 476].

Составители сборника «Западные окраины Российской империи» [4] указывают, что эти территории являлись ареной борьбы непримиримых между собой русского и польского проектов строительства нации, а также пространством соперничества различных национализмов. Рассмотрение политики властей в национальном вопросе в этом регионе помещено в контекст реформаторской деятельности правительства, особенно Великих реформ 1860-х годов, которые еще более заострили проблемы лояльности и идентичности освобождаемых от крепостной зависимости крестьян, одновременно сделав актуальными программы унификации различных сфер управления окраинами в рамках модернизации империи. В отношении восточнославянского населения западных окраин власти прежде всего были озабочены вопросом об утверждении «общерусской» идентичности, в то время как в отношении поляков, литовцев и евреев проводилась политика, направленная не столько на их обрусение, сколько на утверждение такой идентичности, которая делала бы их лояльными подданными. Основным результатом политики «деполонизации», проводившейся в этом регионе после 1863 г., признается подрыв потенциала польского нациестроительства в западных губерниях. Но успехи «русского проекта» оцениваются как амбивалентные, поскольку, как утверждается, местному населению не было предложено подходящего видения «русскости», которое удачно вписалось бы в сложные условия этнокультурной гетерогенности этого региона. Вместе с тем авторы сборника склонны подчеркивать постоянную неготовность российских императоров и высшей бюрократии к достаточно быстро изменявшимся событиям на окраинах (в частности, придается непропорциональное значение эффекту «смятения и паники» в правящих кругах в связи с Польским восстанием 1863 г.). Уделяя значительное место изучению мотивации поступков имперских властей и противоречиям в процессе выработки

решений, авторы сборника тем не менее не пытаются провести сколько-нибудь обоснованного разграничения между проявлениями националистического мышления и более традиционными имперскими установками, характерными для российской бюрократии.

Литовский историк Д. Сталюнас [7] на основе анализа политики русификации в 1860-х годах расставляет акценты несколько иначе. По его мнению, понятие русификации могло обозначать различные варианты национальной политики в зависимости от того, к какой этнической группе оно применялось, и в соответствии с этим менялись также цели и методы административных практик. Так, в случае белорусов речь шла преимущественно об ассимиляции, в случае евреев – об аккультурации и интеграции, а в случае литовцев этот термин почти не использовался.

Большой интерес к конфессиональной составляющей национальной политики на западных окраинах проявил в своих исследованиях М.Д. Долбилов [3]. Его основное внимание привлекли фигуры тех, кого можно считать создателями имперской конфессиональной инженерии в Северо-Западном крае. Центральное место в построениях автора занимают, с одной стороны, концепция конфессиональной политики как некоего переключения двух «режимов» – дисциплинирования и дискредитации, а с другой – спорный постулат о существовании уже в середине XIX в. четко себя проявляющего русского национализма и его превалировании в сознании бюрократии. На основе широкого круга новых архивных источников автор демонстрирует значение (весьма ограниченное) тех инициатив, которые выдвигались (но зачастую оставались нереализованными) при разработке политики в отношении неправославных конфессий чиновниками среднего звена виленской администрации. Чтобы подчеркнуть влияние религиозности на формирование сознания российского чиновничества, вводится довольно противоречивый по своему значению термин «религиозно настроенный националист» [3, с. 452], хотя роль православия фактически остается за рамками научных интересов автора. Одновременно Долбилов стремится проследить взаимосвязь между преобразовательными, реформистскими настроениями царствования Александра II и русификаторскими экспериментами в сфере конфессиональной политики, однако в целом усматривая в этом лишь сочетание «популистско-ксенофобских» представлений.

Белорусский исследователь А.Ю. Бендин стремится аргументировать иную позицию, подчеркивая, так сказать, оборонительный характер конфессиональной политики Российской импе-

рии в западных губерниях [1]. По его мнению, главной характеристикой правительственной политики в отношении католической церкви и в Северо-Западном крае, и в империи в целом была веротерпимость. Политика веротерпимости выражалась, в частности, в мерах, направленных как против распространения этнорелигиозной вражды со стороны польских религиозных фанатиков и националистов (согласно терминологии Бендина, «этнонационалистов»), так и в защиту православных белорусов от агрессивных форм «полонизма». Проблема веротерпимости рассматривается в контексте политики в отношении бывших униатов («упорствующих»), правительственных мероприятий по введению русского языка в дополнительное католическое богослужение («обрусение костела») и др. Особое внимание уделено влиянию указа 17 апреля 1905 г. о веротерпимости на положение православных и католиков в Северо-Западном крае, а также тому, как смысл этого постановления постепенно трансформировался в конкретных административных практиках. Как полагает Бендин, периоду после принятия указа о веротерпимости был присущ острый конфликт двух «идентификационных механизмов». Правительственные институты стремились сформировать у молодого поколения населения западных губерний в качестве первичной гражданскую (или, другими словами, «гражданскую, надэтническую, российскую») идентичность, в то время как католические иерархи и их паства поддерживали приоритет религиозной и этнической идентичности над гражданской, выступая за доминирование польского языка в костеле и школе [1, с. 386].

Для анализа отношений между российским государством, местной польско-католической элитой и основной массой населения, т.е. белорусским крестьянством, Бендин предлагает использовать концепцию М. Хечтера о «внутреннем колониализме», предполагающем структурную зависимость периферии от этнического ядра. Характеризируя те социально-экономические и культурные условия, в которых происходило реформирование Северо-Западного края в 1860-х годах, автор делает особый акцент на сословных, конфессиональных, культурных и отчасти этнических различиях между «доминирующим польским меньшинством» и «крестьянским православным большинством». По его мнению, именно благодаря этим различиям в регионе сложилась «колониальная ситуация», основанная на культурной дистанции между теми, кто обладал властью (польскими помещиками), и теми, кто подвергался экономической эксплуатации (православными крестья-

янами). Существование этой культурной дистанции, как полагает Бендин, позволяет охарактеризовать Северо-Западный край как регион, имевший «признаки внутрироссийской польской колонии». По его убеждению, «это был особый тип колониального господства, воссозданный самим российским государством», при котором были легализованы, во-первых, средства крепостнической эксплуатации местной элитой крестьянского большинства и, во-вторых, возможности «унижения» только формально «господствующего» православия [2, с. 40]. После Польского восстания 1863 г. правительство поставило перед собой цель «деколонизации» Северо-Западного края, и эта политика, проводившаяся виленским генерал-губернатором М.Н. Муравьевым в форме «ограниченной» «церковно-бюрократической реконкисты», была направлена на то, чтобы сократить влияние польского дворянства и католического духовенства на белорусское крестьянство, в том числе и в области формирования идентичностей [2, с. 63, 84]. Однако значение ряда интересных выводов автора в определенной мере обесценивают его тенденции в довольно упрощенном виде рассматривать происходившие во второй половине XIX – начале XX в. процессы формирования национальных идентичностей русских, белорусов, поляков и литовцев, а также переоценивать значение пропаганды «полонизма» как политической угрозы для существования империи.

В современной историографии, посвященной изучению западных окраин, также наметилось новое направление, которое связано с очередным методологическим «поворотом» – в данном случае обращением к представлениям о пространстве. В его рамках в центре внимания исследователей оказалось изучение факторов, влиявших на формирование пространственного воображения как имперских элит, так и деятелей национальных движений, а также тех каналов, посредством которых распространялись образы пространств.

Пример наднациональной истории целого региона, главным фокусом которого является морское пространство, представлен в работе немецкого историка М. Норта [5]. Исследователь, основываясь прежде всего на факторе географической близости стран, выходящих к Балтийскому морю, пытается выявить наднациональные черты в развитии этого региона. Политическая, экономическая и культурная история прибалтийских стран, включая Россию и территории ее в то время западных окраин (современных Литвы, Латвии и Эстонии), показана сквозь призму развития

крупнейших портовых и урбанистических центров, таких как С.-Петербург, Рига, Данциг, Кёнигсберг, Хельсинки и др. Однако широкий географический и временной охват обусловил определенную поверхность авторского анализа и спорность некоторых выводов. В частности, Норт явно путает различные явления и причинные связи, когда утверждает, что, как часть политики русификации, русские колонисты поехали в Литву, и это спровоцировало после 1864 г. волну эмиграции литовских крестьян в США [5, с. 202].

Сборник коллектива авторов под редакцией Сталюнаса «Пространственные концепции Литвы в долгом девятнадцатом веке» [6] посвящен проблеме формирования географических (территориальных) образов национальной территории. «Литва» в этом коллективном исследовании предстает в качестве пространства с различными границами, отличавшимися в зависимости от того, какая именно интеллектуальная элита воображала его в своих «проектах» – литовская, польская, еврейская или белорусская. В целом проблема территориального воображения рассматривается в русле исследований национализма, связанных с трудами Энтони Д. Смита, в которых важное значение в формировании идеологии идентичностей придается территориальности. Авторами этого сборника также ставится задача выяснить, какие «национальные идиомы» легли в основу национальной идентификации литовцев, поляков, евреев и белорусов, и как они повлияли на стратегию воображения их «национальной территории». В специальной главе, озаглавленной «Польша или Россия: Литва на российской ментальной карте», Сталюнас рассматривает вопрос о том, когда и как в российском дискурсе появилась концепция, согласно которой Литва объявлялась российской «национальной территорией» [6, с. 24–25]. Внутри этой более широкой проблемы автор выделил ряд взаимосвязанных тем, которые он разбирает отдельно. В их числе – как имперские власти меняли название этого региона; какие научные, идеологические и политические инструменты использовались чиновниками и различными экспертами для того, чтобы обосновать тезис о принадлежности этих земель России; как российские ментальные карты повлияли на изменение административных границ; как российское правительство символически «присвоило» это пространство. По мнению автора, имперская бюрократия стремилась вычленить «Литву» из границ исторической Речи Посполитой, и с этой целью широко

использовало данные этногеографии и статистики для доказательства «русскости» этих земель.

Изучение западных окраин Российской империи как своего рода «разломов», «промежуточных» и пограничных пространств между центрами империй, где контроль над территориями и населением сам по себе являлся предметом спора между соседними державами, а процесс формирования национальных идентичностей не был завершен к началу XX в., продолжает оставаться актуальной проблемой в современной историографии.

Список литературы

1. Бендин А.Ю. Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской империи (1863–1914). – Минск: БГУ, 2010. – 439 с.
2. Бендин А.Ю. Реформы графа М.Н. Муравьева как цивилизационный поворот в истории белорусского народа // Университетский вестник. – Смоленск, 2016. – № 1 (17): Цивилизационные основы государственности России и Белоруссии. – С. 18–90.
3. Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 1000 с.
4. Западные окраины Российской империи / под ред. М.Д. Долбилова и А.И. Миллера. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 608 с.
5. North M. The Baltic: A history / trans. Kenneth Kronenberg. – Cambridge, MA; L.: Harvard univ. press, 2015. – 448 p.
6. Spatial concepts of Lithuania in the long nineteenth century / Ed. by Darius Staliūnas. – Boston: Academic Studies press, 2016. – 471 p.
7. Staliūnas D. Making Russians: Meaning and practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863. – Amsterdam; N.Y.: Rodopi, 2007. – XIV, 465 p.
8. Weeks Th.R. Russification: Word and practice 1863–1914 // Proceedings of the American Philosophical Society. – 2004. – Vol. 148, N 4. – P. 471–489.

Шейнкер Э.Р.

**КОНФЕССИИ ШТЕТЛА: ОБРАЩЕННЫЕ
ИЗ ИУДАИЗМА В ИМПЕРСКОЙ РОССИИ, 1817–1906
(Реферат)**

Schainker E.R.

Confessions of the shtetl: converts from Judaism in imperial Russia, 1817–1906. – Stanford (California): Stanford univ. press, 2017. – XVI, 339 p.: ill.

Книга Элли Р. Шейнкер (Университет Эмори, Атланта, США) посвящена практике обращения в христианство среди российских евреев в XIX – начале XX в. В общей сложности на протяжении XIX в. около 69 400 евреев приняли православие и около 15 тыс. перешли в «терпимые» инославные исповедания – католичество и лютеранство. В первой половине столетия среди них преобладали мужчины, начиная с 1860-х годов – женщины.

Автор изучает общий контекст (социальный и повседневный), в котором происходили обращения, анализирует побудительные мотивы выкрестов, прослеживает реакцию еврейских общин на переход отдельных своих членов в христианство. В центре ее внимания – несколько взаимосвязанных тем: роль российского правительства в управлении религиозным разнообразием империи, характеризующейся веротерпимостью; повседневная жизнь обращенных, включая социальные, географические, религиозные и экономические связи между обращенными, христианами и евреями; проблемы конструирования, пересечения и поддержания этноконфессиональных границ, поскольку обращенные явно нарушали

границы своей общины и национальной идентичности. По словам автора, «сквозь призму обращения взаимодействие евреев с Российской империей предстает глубоко религиозной драмой, в которой разнообразное, заманчивое и иногда почти агрессивное христианство – и как вероисповедание, и как социальный строй (режим) – привлекало многих евреев, угрожая целостности еврейской общины и формируя “оборонительное” поведение и соответственно идентичность российского еврейства в целом» (с. 3–4). Согласно ее наблюдениям, «крещение не означало полного разрыва с еврейством и еврейской общиной», но «становилось началом сложного эксперимента с новыми формами идентичности и принадлежности» (с. 5).

В предшествующей историографии этот феномен изучался главным образом применительно к перешедшим в православие евреям-кантонистам (несовершеннолетним рекрутам-евреям, призывавшимся на военную службу с 1827 до конца 1850-х годов), но их насчитывалось всего 20–25 тыс., т.е. не больше четверти от общего числа обращенных евреев. Э.Р. Шейнкер исследует опыт евреев-христиан в целом. Ее внимание при этом сосредоточено на западных окраинах империи, которые она характеризует как отличающиеся этническим и конфессиональным многообразием «зоны межрелигиозных контактов» (с. 5).

Она использует документы центральных российских архивов (ГАРФ, РГАДА, РГИА, РГВИА, РГАСО), документы различных местных учреждений Российской империи, отложившиеся в украинских, литовских архивах и Национальном историческом архиве Беларуси, а также фонды Центрального архива истории еврейского народа в Иерусалиме и Еврейского научного института (YIVO) в Нью-Йорке, периодические издания и другие источники. Хронологически исследование охватывает период с 1817 г., когда евреи в России получили официальную возможность переходить в другую веру, до 1905–1906 гг., когда был разрешен обратный переход из христианства в иудаизм.

Книга состоит из введения, шести глав, объединенных в три части, и эпилога. В первой части «Конфессиональное государство и евреи» рассматривается религиозная политика российского правительства от Александра I до Николая II, определившая институциональный контекст, в котором происходили обращения. В первой половине XIX в. она была достаточно противоречивой. С одной стороны, государство поощряло переход евреев в христианство, причем не только в православие: в 1827 г. им было разре-

шено переходить и в другие «терпимые» христианские конфессии. С другой стороны, правительство проводило политику терпимости по отношению к признаваемым в России религиям и конфессиям, включая иудаизм, пытаясь тем самым встроить существующие религиозные институты в общую систему власти в империи. Это давало еврейским религиозным общинам определенные рычаги для давления на своих членов, желающих принять христианство.

Правительство Александра I пыталось стимулировать обращение евреев в христианство разнообразными льготами и пособиями (несмотря на часто возникавшие подозрения в неискренности евреев, желающих креститься). Николай I основную ставку делал на армию: в 1827 г. он распространил на евреев рекрутскую повинность, тогда же был санкционирован и призыв на военную службу несовершеннолетних мальчиков-евреев, которых отдавали в школы кантонистов; последних особенно настойчиво принуждали к крещению.

В пореформенные годы правительство практически полностью свернуло свою прежнюю деятельность по обращению евреев. Хотя православие и оставалось официально государственной религией, царская бюрократия в этот период была озабочена прежде всего поддержанием политической стабильности в империи и старалась избегать конфликтов с религиозными институтами «терпимых» вероисповеданий; старообрядцы и другие православные секты вызывали у чиновников гораздо больше беспокойства, нежели евреи. Аналогичную позицию занимал и Святейший правительствующий синод. В этих условиях проповедью христианства среди евреев занимались главным образом по собственной инициативе миссионеры из числа самих выкрестов. Под влиянием лютеран они делали особый акцент на издание религиозной литературы на еврейских языках, включая перевод Нового Завета не только на иврит, но и на идиш. На практике, однако, роль миссионеров в обращении российских евреев в христианство оставалась достаточно ограниченной.

Во второй части автор описывает повседневную жизнь городов и местечек в черте оседлости как среду, в которой происходило взаимодействие между представителями разных конфессий и совершались обращения. Она опирается главным образом на материалы пореформенного периода, когда крещение стало по преимуществу добровольным актом. Тогда же начала расти и доля женщин среди новообращенных, особенно в сельской местности. Во многих случаях именно повседневное личное общение с хри-

стианами (например, в корчме) подталкивало человека к смене веры и одновременно упрощало для него этот шаг.

В то же время в условиях местечка, где все друг друга знали и жизнь протекала у всех на виду, крещение или даже намерение его совершить не могло долго оставаться тайной и нередко приводило к серьезным конфликтам. Прямое насилие в отношении выкрестов было скорее эпизодическим явлением, гораздо чаще семья или община пытались воздействовать на своих членов, принявших или намеревающихся принять крещение. Для этого использовались различные возможности, вытекающие из действующего законодательства, поскольку иудаизм официально считался «терпимой» религией, и еврейские общины самостоятельно решали такие вопросы, как запись актов гражданского состояния, брак и развод, налогообложение, призыв в армию и т.д. С другой стороны, в крайне редких случаях перехода христиан в иудаизм (чаще всего так поступали евреи, крещенные по принуждению) общины помогали им скрыться от властей.

В третьей части «Обращенные в движении» анализируются истории возвращения евреев-выкрестов к иудаизму и описываются иудеохристианские секты, существовавшие на Юге России в 1880-е годы. На этих примерах автор показывает, что границы между конфессиями, при всей их строгости, были все же достаточно проницаемыми. Переход из православия обратно в иудаизм был декриминализован только в 1905 г. (переход из других христианских конфессий в нехристианскую веру – в 1906 г.), но и по новому законодательству такие переходы были серьезно ограничены. В то же время многочисленные истории возвращения к вере отцов зафиксированы и до 1905 г.; более того, известны случаи, когда выкресты, открыто вернувшиеся в иудаизм или подозревавшиеся в тайном соблюдении еврейских традиций, оправдывались судом (в первую очередь это относилось к бывшим кантонистам). Возвращению в иудаизм нередко способствовало то обстоятельство, что даже приняв крещение, человек чаще всего продолжал жить если и не в своем родном местечке, то во всяком случае в пределах черты оседлости и все так же регулярно общался с евреями, нередко сохранял связи и с собственной семьей.

Автор отмечает, что в конце XIX – начале XX в. правительство стало относиться к крещеным евреям со все большим подозрением, на них были распространены многие дискриминационные законы, которые ранее действовали лишь в отношении иудеев, в паспортах наряду с обычной записью о православном исповедании

начали ставить штамп «Из евреев». В этот же период в консервативной прессе все чаще высказывались мысли о том, что обращение евреев в православие приносит больше вреда, чем пользы, поскольку евреи тем самым якобы получают возможность разрушать церковь изнутри. Этничность, таким образом, постепенно становилась более важным критерием, нежели религиозная принадлежность.

Еще одним явлением, не вписывающимся в систему официальных межрелигиозных границ, были иудеохристианские секты 1880-х годов. По существу их вероучение основывалось на различных комбинациях прогрессивного иудаизма с христианскими идеями, хотя официально основатели таких сект предпочитали называть себя евреями, а не христианами, чтобы не подпасть под действие законов, криминализирующих «отпадение» от христианства. Реакция общества (как еврейского, так и русского) на появление таких сект была неоднозначной. Евреи в большинстве своем отнеслись к их последователям едва ли не с большей неприязнью, чем даже к выкрестам, поскольку в данном случае речь шла не просто о переходе из одной веры в другую, а о размывании самого понятия еврейства; для большинства российских евреев религия оставалась неотъемлемым компонентом их идентичности вплоть до советского периода. В православной среде иудеохристианство вызвало определенный интерес как один из возможных путей христианизации евреев, но близость описываемых сект к протестантизму и прогрессивному иудаизму многим православным авторам казалась слишком опасной. Реакция правительства во многом основывалась на том, что религиозная идентичность по-прежнему официально считалась не личным делом каждого конкретного человека, а объективным качеством, которое подтверждалось не столько реальным мировоззрением, сколько формальным соблюдением обрядов, фиксировалось документально и определяло социальный статус его носителя. В подобной системе координат секты, функционирующие на стыке двух религий, неизбежно оказывались неприемлемыми, поскольку разрушали межконфессиональные границы; как следствие, все они в конце концов были распущены.

В эпилоге прослеживается влияние, которое феномен обращений в христианство оказал на культуру и самосознание российских евреев. Автор также рассматривает дальнейшее развитие изучаемых процессов в межреволюционный период 1906–1917 гг. и в советские годы.

Бояновская Э.М.
МИР ИМПЕРИЙ: ПУТЕШЕСТВИЕ
РУССКОГО ФРЕГАТА «ПАЛЛАДА»
(Реферат)

Bojanowska E.M.
A world of empires: The Russian voyage
of the frigate «Pallada». – Cambridge; L.: The Belknap press
of Harvard univ. press, 2018. – X, 373 p.

История дипломатической миссии адмирала Путятина в Японию в 1852–1855 гг. с целью установить отношения с этой уже 200 лет закрытой для иностранцев страной хорошо известна не только историкам, но и широкой публике. В долгом почти кругосветном путешествии миссию сопровождал уже известный к тому времени писатель И.А. Гончаров, служивший тогда переводчиком в департаменте внешней торговли Министерства финансов и ставший «Гомером» экспедиции. На основе своих писем к друзьям и путевых заметок он написал книгу «Фрегат “Паллада”» (1858), которая завоевала любовь читателей, много раз переиздавалась, была кардинально переработана в 1879 г. и с тех пор не утратила своей популярности.

В монографии профессора славянских языков и литературы Йельского университета Эдиты Бояновской рассматривается глобальная истории середины XIX в., как она предстала перед русским писателем Иваном Гончаровым и была отражена им в его широко известном произведении. Исследовательница подчеркивает, что книга Гончарова представляет собой документ «имперского мировоззрения» того времени, которое широко

резонировало со взглядами русского читателя. В книге выстраивается образ западноевропейского империализма и показано место России «на глобальной имперской арене». Помещая эти образы и представления в более широкий политический и культурный контекст эпохи, автор стремится выявить их особенности (с. 4–5).

Сам маршрут экспедиции предполагал знакомство с великими империями и их колониями. Выйдя из Петербурга, небольшая флотилия прошла через Балтийское море и остановилась в Портсмуте. Потрепанный штормами фрегат потребовал долгого ремонта (что дало возможность экипажу ближе познакомиться с Англией), и маршрут сократили: вместо того чтобы пересекать Атлантику, поплыли к мысу Доброй Надежды в обход Африки в Индийский океан. Русские моряки провели около месяца в Кейптауне, делали короткие стоянки на голландской Яве, в британских портах Гонконг и Сингапур, затем двинулись к Японии – цели своей «неофициальной миссии», как пишет автор. Их немного опередили американцы: корабль капитана Мэтью Перри бросил якорь в порту Токио (тогда Эдо) 14 июля 1853 г., русские прибыли в Нагасаки пятью неделями позже. Японцы вели переговоры параллельно с обеими миссиями в течение нескольких месяцев и подписали соглашения и с русскими, и с американцами. За это время «Паллада» успела посетить Шанхай, принадлежавшие Японии острова Рюкю и Бонинские и испанскую Манилу. Затем она пошла в Корею, а оттуда к российскому побережью (с. 1–2). Возвращался Гончаров в Петербург сухим путем, что дало ему возможность познакомиться с «сибирскими колониями России», пишет автор. Этот путь оказался куда тяжелее, нежели путешествие на комфортабельном корабле.

Писатель как член команды стал свидетелем мировых событий: восстания тайпинов в Китае, начала Крымской войны, что сделало «Палладу» потенциальной мишенью для французов и англичан на Тихоокеанском театре военных действий (с. 4). В своей книге-травелоге он касается множества вопросов международного характера: кафрские войны в Капской колонии, «опиумные войны», подготовка России к завоеванию Уссурийского края и разведка ситуации в Корее. Гончаров рассуждает и о вопросах более широких: о меркантилизме и свободе торговли, об экономической глобализации, об управлении колониями поселенцев (в Южной Африке и в Сибири), о реакции на «антиколонияльное сопротивление» и лучших методах «цивилизовать» упрямое местное население, о поня-

тии «расы». Все они так или иначе связаны с империализмом, и Бояновская останавливается на особенностях самовосприятия русских в контексте «мира империй» того времени.

Она подчеркивает сложность отношений русских с Европой и к Европе, их ощущение своей маргинальности и «второсортности», которое определенно компенсировалось по мере продвижения Российской империи на Восток. Это особенно ярко демонстрируется в книге Гончарова: «Его русские безусловно принадлежат к тому же интеллектуальному сообществу, что и европейцы», – пишет автор. По ее словам, Россия XIX в. предстает «все более напоистой империей, которая понимала себя и действовала – дипломатически, экономически и дискурсивно – в рамках глобального имперского миропорядка, основанного на имперской экспансии и конкуренции» (с. 5–6).

Автор обращает внимание на тот факт, что «открытие Японии», которое обычно подается как «открытие Японии Западом», фактически было сделано русскими. Хотя договор с Россией Япония подписала чуть позже, чем с Америкой, он был куда более детальным и выгодным. Кроме того, сами японцы считали, что «открыли» их русские: долгое время в японском языке слово «путятин» означало «иностранец». В то же время не следует забывать, что подписанный договор ни в коей мере не являлся «торговым договором с соседом», как это подавалось в советское время, отмечает Бояновская. Оба договора – и с Америкой, и с Россией – были неравноправными и представляли собой типичный образец экономической эксплуатации эпохи империализма (с. 6–7).

Указывая, что для империй характерно активное заимствование друг у друга знаний и технологий управления («конкурентная политика сравнений», по выражению Энн Столер), автор останавливается на роли травелогов в проведении этих сравнений. Не будучи «высокой литературой», травелоги чрезвычайно популярны, и как жанр имеют свои особенности: они несут образовательную функцию, снабжая читателей знанием о неизвестных странах и народах, при этом являясь сводкой идей, представлений, предразсудков и ценностей этих читателей. Иными словами, травелоги говорят не столько об объектах своего описания, сколько о том обществе, к которому принадлежат их авторы. Бояновская пишет и о таком аспекте травелогов, как «популяризация империализма», который в данном случае ассоциируется с духом предприимчивости, с приключениями и открытиями, с завоеванием природы и торжеством европейской цивилизации над дикостью (с. 9).

«Фрегат “Паллада”», будучи продуктом своего времени, снабдил целые поколения читателей набором образов, превратившихся в клише, которые касались российской экспансии и цивилизаторской миссии. В соответствии с традицией написания травелогов Гончаров использовал уже имеющиеся тексты – однако весьма умеренно. Представленные им описания имели достаточно серьезный фундамент в виде нескольких тысяч томов корабельной библиотеки и серьезных бесед с членами миссии. Ее состав был впечатляющим, начиная с адмирала Путятина, который впоследствии стал министром просвещения. Товарищами и собеседниками Гончарова были натуралист, синолог и затем первый консул в Японии, автор русско-японского словаря Константин Горшкевич, переводчик с голландского, член Русского Географического общества и Академии наук Константин Посыет (впоследствии министр путей сообщения) и другие (с. 11–12).

Основополагающей идеей, пронизывающей все произведение Гончарова, однако никогда не выраженной прямо, является необходимость догнать соперников на мировой арене, в особенности Британию. Подразумевалось, что Россия должна стать конкурентной в глобальной торговле, выкачивании ресурсов и в обеспечении доступа на рынки дешевой рабочей силы. Гончаров был чрезвычайно впечатлен успехами Британии, в том числе ее новой ресурсосберегающей моделью «неформальной империи», которая опиралась на морскую и экономическую мощь и не требовала территориальных аннексий отдаленных территорий (в Китае в частности). Эти практики, полагал он, можно было бы применять и в Сибири, и на Дальнем Востоке – распространение российской власти на эти регионы виделось Гончарову делом недалекого будущего. Как пишет Бояновская, «центральная геополитическая конфронтация XIX в. – “большая игра” в Азии между Россией и Англией – маячит на горизонте травелога» (с. 12).

Менее явно присутствует тема «гуманитарной» составляющей империализма – цивилизаторской миссии по просвещению и развитию отсталых народов. Русские отнюдь не чуждались присущей западноевропейцам привычки «ориентализировать нецивилизованные земли и народы», и «Фрегат “Паллада”» пестрит классическими тропами европейского империализма, демонстрируя «неприкрашенный европоцентризм» автора, замечает Бояновская. Несомненно, по отношению к встречавшимся ему людям Гончаров весьма благожелателен, однако когда речь идет об обобщающих категориях расы и этничности, он привержен стереотипам и не

использует свой жизненный опыт для их пересмотра. При этом он чаще всего старается не замечать негативного влияния империализма на колонизируемые народы (с. 12–13).

Тем не менее, полагает автор, «имперский» пласт текста Гончарова достаточно неоднозначен и многослоен. При всей приверженности европоцентристской иерархии (первенство просвещенной, модернизированной, белой Европы), писатель зачастую ставит на одну доску англичан и китайцев, африканских женщин и русских крестьянок, японцев – и представителей самых передовых европейских наций. Бояновская исследует идеи Гончарова об империях и империализме во всем их разнообразии, генеалогической и идеологической сложности, в их взаимодействии с историей и культурой. В основе ее исследовательского метода лежит сопоставление («продуктивная беседа») мировидения писателя, истории, «как ее знали тогда», и истории, «как ее знают сейчас» (с. 13–14). Работа, по словам самой Бояновской, представляет собой «совместное предприятие» истории и литературоведения, что открывает новые перспективы для изучения империй (с. 17).

Она пишет, что сила произведения Гончарова (которое она рассматривает как документ) – в сочетании факта и художественного вымысла (*fact and fiction*). Его «литературное измерение» дает возможность индивидуального, творческого проникновения в историю, живого ее восприятия в нюансах. Плодотворность такого подхода начали признавать и активно использовать историки империй (с. 15).

Анализируя произведение Гончарова, Бояновская стремится выявить именно эту сторону истории. По ее словам, одним из главных открытий, сделанных Гончаровым во время его путешествия, стала глобализация, наступление которой он отмечал с первых строк своего повествования. Мысливший параллелями и подобиями, он находил взаимопересечения и единообразие – то, что сегодня ассоциируется у нас с глобализацией – повсюду. Империализм для Гончарова был явно глобальным феноменом, а Россия являлась его интегральной частью, пишет автор. Она отмечает, что историки, как правило, занимаются изучением внутренней активности Российской империи: присоединением земель, администрацией, институтами управления мультиэтничной страной. В данной работе взгляды русских направлены вовне, на сцену глобального имперского соперничества (с. 17).

Книга Э. Бояновской не является хроникой путешествия в чистом виде, она построена по тематическому принципу, что от-

ражено в названиях глав. Подчеркивая восхищение Гончарова могуществом Британии – признанного лидера среди империй середины XIX в., – автор обращается к теме управления отдаленными владениями, в данном случае Капской колонией («От Лондона до Кейптауна, или Как управлять успешной империей»). Именно здесь особенно ярко проявилась «колонизационная компетентность» британцев, по контрасту с прежними владельцами колонии – голландцами.

Мировая торговля, тарифы, движения капитала, заоблачные прибыли – тема главы «Ананасы в Петербурге, щи на экваторе». Здесь в центре внимания находятся порты Юго-Восточной Азии и Китая – Манила, Шанхай, Сингапур, которые предстают в качестве узловых точек морских торговых путей, опоясывающих весь мир. Еще одна глава посвящена «открытию» Японии, в ходе которого русские проявили куда больше уважения к стране и ее обычаям, нежели американцы с их «дипломатией канонеров». Гончаров, однако, менее «терпелив» в своей книге, чем представители русской миссии, замечает исследовательница. Его представления о «европейском» будущем Японии являют собой «смесь гуманистических чувств и грубой Realpolitik» (с. 20).

Затем Бояновская обращается к сибирской части кругосветного путешествия писателя и его характеристикам внутренней колонии России. Она отмечает, что Гончаров явно русифицирует образ Сибири, выражая свою уверенность в «судьбоносности континентальной экспансии» для России. Разнообразие человечества – еще одна тема «Фрегата “Паллада”», которая особо рассматривается автором. Завершает исследование глава, посвященная судьбе книги и ее восприятию дореволюционным, советским и современным читателем.

О.В. Большакова

Сифнеос Э.
ИМПЕРСКАЯ ОДЕССА:
ЛЮДИ, ПРОСТРАНСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ
(Реферат)

Sifneos E.
Imperial Odessa: Peoples, spaces, identities. –
Leiden; Boston: Brill, 2018. – 286 p.

Задачу своего исследования Эвридика Сифнеос (Национальный греческий исследовательский фонд, Афины) видит в том, чтобы «перекартографировать» (to re-map) Одессу рубежа XIX–XX вв. По мнению автора, Одессу следует рассматривать скорее как восточносредиземноморский порт-метрополис, чем провинциальный город Российской империи. Свой статус Одесса получила благодаря двум ее принципиальным характеристикам – функционированию как центра международной торговли и путешествий и многонациональному составу ее населения (с. 1).

Монография состоит из введения и шести глав.

Во введении автор рассматривает два подхода – «перипатетический» и социально-экономический, которые были использованы ею при анализе отношений между различными группами населения Одессы. Отмечаются те возможности, которые предоставляет «перипатетическое» исследование для историков, стремящихся многосторонне раскрыть пространство города. Выбранный автором термин для обозначения своего подхода – «перипатетический» (от греч. *peripatētikos* – прогуливающийся) – происходит от названия школы Аристотеля, основанной в 335 г. до н.э. Перипатетическое обучение происходило там в помещении крытой

галереи (греч. *peripatos*). Вместе с тем, как отмечает автор, термин «перипатетический» используется в монографии в широком значении как «гулять», «прохаживаться», «фланиовать», отсылая читателя к работам немецкого философа Вальтера Бенямина и известного французского историка Мишеля де Серто, включавшего в свое исследование «практик повседневности» и практику пеших прогулок. «Перипатетическое» изучение урбанистического ландшафта сопоставляется автором с неспешной прогулкой, во время которой происходит процесс постепенного узнавания городской «физиономии» (с. 3–6).

Необходимость нового подхода к изучению города-порта Одессы, по мнению автора, обусловлена тем, что в историографии, как правило, та или иная этническая группа рассматривается изолированно, и недостаточно внимания уделяется городской демографии, различным формам взаимодействия и кооперации, а также общему социальному и жизненному опыту одесситов в целом. Распределение разных этнических групп в городском пространстве в период «наибольшего роста и драматичной социальной перестройки», склонность этих групп избирать те или иные профессии, различное их отношение к предпринимательской или общественной деятельности, – все эти вопросы составляют основу данного исследования.

Одновременно акцент делается на анализе двойных (или даже множественных) идентичностей одесситов. Автор выделяет два основных типа идентичностей, возникших в Одессе на рубеже XIX–XX вв., – составная / дополняющая (*composite / complementary*) и однозначная / исключаяющая (*unambiguous / exclusionary*). Примером первого типа является имперская идентичность, которая предполагает принятие множества «лояльностей» и привязанностей (например, этническая принадлежность, привязанность к своему роду, вероисповедание и т.п.), не исключающих друг друга. Как полагает Сифнеос, имперская идентичность укрепилась в результате Великих реформ 1860-х годов, развития новых средств связи и инфраструктур многоэтничной империи, а также благодаря формированию единого рынка и успехам лингвистической ассимиляции на основе русского языка. Второй тип идентичностей, по своей сути националистический, возник вследствие конфликта между потребностями меньшинств (евреев, поляков, украинцев и т.п.) и политическими и культурными амбициями русских как доминантной этнической группы.

Исследование Сифнеос призвано скорректировать, по ее словам, «стандартный исторический нарратив» о развитии Одессы, согласно которому население города было фрагментировано преимущественно на основании этнической и религиозной принадлежности. По мнению автора, «верхи» и «низы» одесского общества, напротив, проявляли высокую степень интеграции, преодолевавшей религиозные и этнические барьеры, которые были обусловлены государственным законодательством или традиционным укладом. Фрагментация «социальной ткани» Одессы прежде всего ощущалась в «средних классах» – среди купцов, лавочников и т.п. Именно в «средних классах» происходило яростное соперничество в определенных экономических секторах (особенно между греческими и еврейскими купцами в сфере торговли зерном). По мнению автора, именно по принципу принадлежности к определенному «классу» одесситами решались такие вопросы, как, например, с кем вступать в коммерческое партнерство, с кем делить публичное пространство, какие праздники посещать и т.п.

Основное внимание в монографии уделяется динамике экономической активности в Одессе, поскольку это помогает проследить, на каком типе коммерческой деятельности специализировались различные этнические группы и какое влияние экономические изменения оказали на одесситов. По мнению автора, изучение предпринимательской и коммерческой деятельности, охватывавшей разные этнические группы, показывает, что фрагментация одесского урбанистического ландшафта, особенно до последней трети XIX в., в действительности происходила по линии классовых, а не этнических и религиозных отличий (с. 2). Если в первой половине XIX в. основным направлением в развитии одесского общества было стремление к интеграции, то после 1860-х годов – уже к фрагментации, тем более что в этот период, особенно в последней трети XIX в., вследствие правительственной политики укрепились правовая сегрегация различных этнических групп Российской империи.

Сифнеос выделяет три фазы в жизни Одессы XIX – начала XX в. – «европейскую» (1794–1856), «императорскую» (1857–1905), а также фазу политических реформ (1905–1917) (с. 12). В период «европейской» фазы, для которой были характерны религиозная толерантность и этнический плюрализм, социальную элиту города в основном составляли купцы греческого происхождения, а также, в меньшей степени, итальянцы, французы, немцы и англичане. Будучи крупным портом, Одесса оказалась значительно теснее связана с другими экономическими центрами Средиземно-

морья, чем со столицей Российской империи, вследствие чего экономическая жизнь города была структурирована в соответствии с потребностями международной торговли. Во время «императорской» фазы экономическая роль Одессы была обусловлена процессом формирования национального рынка в масштабах всей империи, важными факторами которого были интеграция географических пространств и этническая ассимиляция. В этот период, особенно после 1870-х годов, «класс» предпринимателей Одессы сделался этнически и политически разделенным, а на первые роли выдвинулись торговцы и предприниматели еврейского происхождения, за которыми следовали греки, немцы и пр. Большое влияние на развитие Одессы оказало железнодорожное строительство, соединившее город с Центральной Россией и столицей империи. Порт и окраины города со стороны суши оказались в этот период одинаково важны для логистики (поставок товаров). Во время третьей фазы, сопровождавшейся «конституционными экспериментами» и социальной поляризацией, Одесса в политическом и административном отношении была интегрирована в систему российских институций.

В первой главе «Порт: мобильность и этнический плюрализм» отмечается ведущая роль в «европейский» период жизни Одессы порта и береговой линии в качестве урбанистических пространств. Город и порт представляли тогда единую систему, на которую оказывали влияние такие факторы, как технологии, окружающая среда, экономические условия, особенности законодательства и политического управления. Анализируя современную историографию, посвященную портовым городам Средиземноморья, Сифнеос считает, что к начальной истории Одессы возможно приложить многие общие наблюдения историков. В частности, отмечается, что если в доиндустриальные времена существовала тесная связь между городом и портом, то в индустриальную эпоху увеличившийся размер судов и необходимость обновления портового оборудования изменили прямые отношения между портом и городом, портовые функции были перенесены туда, где было больше пространства. В итоге город постепенно оказался отрезан от порта.

Мобильность и этнический плюрализм, возникшие благодаря порту и наплыву иностранцев, – черты, отличавшие Одессу от других российских городов. С другими портами Средиземноморья роднил Одессу космополитизм, предполагавший сосуществование различных этнических групп, контакты между которыми осуществлялись прежде всего благодаря предпринимательской деятельно-

сти и морской торговле (с. 27–29). Подробно рассмотрены особенности управления городом, демографическое развитие, влияние приезжих и иностранцев на жизнь Одессы.

Вторая глава посвящена появлению и развитию городских рынков, а также формированию определенных предпочтений и вкусов потребителей, связанных с развитием внешней торговли и увеличением импорта. Сифнеос отмечает, что решающими условиями в этом процессе были функционирование свободного порта и инициативы торговцев импортными товарами. Акцент делается на рассмотрении одесских рынков как пространств взаимодействия между потребителями и производителями, с особым вниманием к тому, как одесские рынки отвечали на запросы потребителей, в зависимости от их принадлежности к различным «классам» общества.

В третьей главе «Торговцы и предприниматели: движущие силы одесской экономики» исследуется развитие предпринимательства и рабочей силы в Одессе в соответствии с этническим происхождением и месторасположением. В качестве условных ориентиров в городском пространстве выделяется несколько мест, для которых были характерны разные виды торгово-предпринимательской деятельности, в частности индустриальная зона Пересыпи и район мелких лавочников на Молдаванке. Распределение рабочих в городском пространстве в зависимости от их этничности имело ключевое значение как для развития профсоюзов и формирования политического сознания, так и для проявлений массового насилия на почве этнической вражды (с. 106–107).

Особое внимание уделяется специализации одесских предпринимателей в зависимости от их этнической принадлежности, в частности вопросу о том, кто и в какое время контролировал зерновую торговлю, по каким причинам эта торговля начиная с 1860-х годов постепенно перешла из рук греческих в руки еврейских купцов (с. 117–121).

Как указывает Сифнеос, накануне Первой мировой войны для богатых и успешных предпринимателей Одессы была характерна социальная интеграция, объединявшая вне зависимости от национальной и этнорелигиозной принадлежности. Несмотря на то что они не представляли собой одну группу с едиными экономическими интересами, предпринимателям удалось достичь гармоничного сосуществования на основе общего космополитизма (в том числе и географически – они проживали достаточно компактно). Однако этот космополитизм богачей воспринимался скорее как негативное качество другими социальными группами Одессы,

которые уже включились в националистические или социал-демократические движения.

В четвертой главе «Расцвет публичной сферы» рассматриваются различные добровольные ассоциации и общества Одессы, а также ассоциации рабочих и этнических меньшинств, наиболее интенсивно действовавшие в 1905–1914 гг. Подчеркивается влияние государственного регулирования в этой области, вследствие которого возможности различных ассоциаций и обществ были существенно ограничены. Наряду с прогрессивным значением ассоциаций и обществ отмечается их негативная сторона. По мнению Сифнеос, они способствовали воспроизводству «социальных патологий», прежде всего сегрегации по этнической и религиозной принадлежности.

Пятая глава, озаглавленная «Две стороны луны: этнические столкновения и толерантность в космополитическом городе», посвящена межэтническим отношениям жителей Одессы в «имперский» период (1857–1905). Как отмечает автор, в это время в среде высшего «класса» преобладало стремление к гармоничному сосуществованию различных народностей. Напротив, существовала конфронтация внутри среднего «класса», обусловленная соперничеством в экономической сфере. Такая конфронтация на экономической почве создавала благоприятный климат для конфликта между представителями разных этнических групп города (с. 176). В качестве примера автор указывает на религиозную и культурную конфронтацию между одесскими греками и евреями, наиболее остро проявившуюся во время погрома 1871 г. Между тем за этим конфликтом стояло соперничество между греками и евреями в торгово-предпринимательской сфере, прежде всего в торговле зерном.

Одновременно с расширением Одессы за счет включения в нее городских окраин произошли существенные изменения в демографической структуре города. Еврейское население увеличилось с 19% от общего населения города в 1854 г. до 31% в 1897 г. Причем если евреи проживали в основном в пригородах, то греки – в центре города. К концу XIX в. вследствие ряда факторов экономическая активность еврейского населения возросла, а греческого – напротив, уменьшилась: еврейские торговцы и фабриканты постепенно занимали экономические ниши греков. После 1871 г. заметную роль в погромах играли уже не греки, а русские. По мнению автора, погромы были нацелены на то, чтобы ослабить экономическую силу одесских евреев и исключить соперничество в рамках определенных профессий.

В «низших эшелонах» общества одесситы, в зависимости от профессии и рабочего места, могли быть как объединены общими классовыми интересами, так и разделены в соответствии с их этнической и религиозной принадлежностью. Например, наем прислуги не зависел от этнорелигиозной принадлежности. Напротив, этнорелигиозная сегрегация была нормой для индустриальных рабочих, вследствие чего между различными их группами развивался антагонизм, а не классовая солидарность. Разделение на квалифицированных и неквалифицированных рабочих также имело этнорелигиозное основание. При этом место проживания зачастую зависело от происхождения. Так, большинство хорошо оплачиваемых, организованных и квалифицированных рабочих, трудившихся на железной дороге или крупных фабриках, были русскими и проживали на Пересыпи или в Слободке, в то время как работники небольших мастерских были евреями и проживали на Молдаванке, в Михайловском и Петропавловском районах (с. 180–181). Автор также подробно рассматривает причины и обстоятельства проявлений массового насилия со стороны рабочих и других «низших классов» (преимущественно речь идет об антиеврейских погромах 1871, 1881 и 1905 гг.), влияние на них националистических и социалистических движений, а также реакцию городских властей.

Однако, несмотря на конфликты между этническими группами, по мнению Сифнеос, признаки аккультурации были очевидны в обыденной жизни одесситов: например, не наблюдалось каких-либо этнических или религиозных ограничений при найме жилья.

В шестой главе «Конец космополитического города-порта» рассматривается период Первой мировой и Гражданской войн (1914–1920), во время которого Одесса постепенно утратила свои связи со Средиземноморьем и положение центра международной торговли. Наиболее сложным был период между 1917 и 1920 гг., когда город восемь раз переходил из рук в руки. Жизнь Одессы в этот период представлена сквозь призму личного опыта четырех одесситов – людей с различными национальными идентичностями и политическими пристрастиями, которые в итоге оказались в эмиграции и оставили воспоминания об этом времени. По мнению автора, урбанистический феномен города-порта Одессы, характеризовавшийся социальной кооперацией, религиозной толерантностью и сосуществованием различных народностей, в конце концов остался нереализованным проектом.

А.А. Комзолова

Почекаев Р.Ю.

**ГУБЕРНАТОРЫ И ХАНЫ.
ЛИЧНОСТНЫЙ ФАКТОР ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
XVIII – НАЧАЛО XX в. –
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – 384 с.
(Реферат)**

В монографии исследуется влияние личного фактора на правовую политику Российской империи в обширном регионе, включающем в себя территорию современных Казахстана и республик Средней Азии. В центре внимания – взаимодействие представителей имперской администрации и местных владельцев, в ходе которого выстраивалась система управления Казахской степью и Туркестанским краем на протяжении почти двух столетий. Книга состоит из введения, семи глав и заключения и основана на большом корпусе как опубликованных, так и архивных источников. Первые четыре главы посвящены длительному периоду присоединения Казахской степи и охватывают 1730–1850-е годы, в главах 5–7 рассматриваются взаимоотношения России и среднеазиатских ханств с середины XIX в. до падения царского режима.

В своем исследовании автор исходил из тезиса, что от личности того или иного представителя центральной администрации или национальной элиты, от их симпатий и антипатий, степени близости к императорскому двору, суммы знаний и особенностей характера в большой степени зависела политика целых регионов Российской империи. В то же время он указывает во введении, что какой-либо определенной политической линии в отношении тех

или иных национальных окраин у центральных властей, как правило, не существовало. В особенности это касалось таких «случайно» оказавшихся под властью России или под ее влиянием регионов, как Средняя Азия и Казахстан. Установление там российской власти «являлось не логическим продолжением некой имперской геополитической стратегии, а своеобразным “ответом” на “вызовы”, которые бросали Российской империи ее соседи и противники» (с. 8). В результате в отсутствие у центральных властей представления о том, как управлять новыми территориями, администраторам приходилось на местах анализировать обстановку, собирать информацию о правителях, культуре, обычаях и праве только что присоединенных народов и вырабатывать собственную позицию о принципах управления ими.

Автор подчеркивает, что большую роль в формировании «более-менее последовательной» политики в Средней Азии и Казахстане играли губернаторы и генерал-губернаторы, специально останавливаясь на таких фигурах, как И.И. Неплюев, В.Н. Татищев, В.А. Перовский, К.П. фон Кауфман и др. По его словам, далеко не все губернаторы предлагали собственные проекты управления вверенными им территориями и не все имели силы и возможности их отстаивать. Тактика была индивидуальной, однако объединяло этих людей, мысливших в европоцентристских категориях, представление о собственной «цивилизаторской миссии», которую они осуществляли на среднеазиатской окраине империи с той или иной степенью активности. При этом все они понимали, что осуществление этой миссии неизбежно требовало взаимодействия с «цивилизуемыми» народами, чьи вера, обычаи, образ жизни кардинально отличались от европейских.

Представители местных правящих династий – казахские ханы и султаны, ханы и эмиры Бухары, Хивы, Коканда – к началу XIX в. уже понимали, что полноту своей власти им приходится уступать имперской администрации. Многие из них, пишет Р.Ю. Почекаев, были готовы «конструктивно сотрудничать с российскими властями и даже, более того, с их помощью укреплять свое положение внутри своих государств» (с. 10). Некоторые из них получили образование в России, ценили европейскую культуру, были «тесно инкорпорированы в сановную иерархию Российской империи» (автор приводит в качестве примеров хана Внутренней орды Джангира, последнего эмира бухарского Алим-хана). Однако это обстоятельство не мешало им проводить консерватив-

ную политику, отстаивая традиционные институты и приоритет ислама (с. 10–11).

В книге последовательно освещается взаимодействие «губернаторов и ханов», в котором личные взаимоотношения играли далеко не последнюю роль. История управления национальными окраинами Востока империи представлена, таким образом, «в лицах». Первоначальный этап присоединения Казахстана к России (1730–1750-е годы) рассматривается на примерах взаимоотношений первых начальников Оренбургского края И.К. Кирилова и В.Н. Татищева с ханом Младшего жуза Абулхайром, отношений И.И. Неплюева с тем же Абулхайром, султаном Бораком, а затем ханами Младшего жуза Нурали и Батыром. Период 1780–1790-х годов характеризуется через взаимодействие губернатора О.А. Игельстрёма с ханами Младшего жуза Нурали и Каипом. Первая половина XIX в., которую автор называет «эпохой коренных преобразований» в Казахской степи, получила освещение в связи с деятельностью сибирского генерал-губернатора М.М. Сперанского и оренбургских военных губернаторов П.К. Эссена и В.А. Перовского в их взаимоотношениях с правителями Среднего жуза и ханами Младшего жуза Ширгази и Нурали, а также с «мятежным» ханом всех трех казахских жузов Кенесары. Особое внимание уделяется правителю Букеевского ханства Джангиру, неоднократно посещавшему Санкт-Петербург.

Взаимодействие России с ханствами Средней Азии до середины XIX в. представлено через взаимоотношения В.А. Перовского, оренбургского генерал-губернатора А.А. Катенина и западносибирского губернатора Г.Х. Гасфорта с правителями Хивы, Коканда, Бухары. Отдельная глава посвящена «эпохе Кауфмана», первого генерал-губернатора Туркестана (1868–1882), который, как считается, «заложил основы политического, административного, правового, экономического и культурного развития русской Средней Азии» (с. 275). Автор останавливается на его взаимоотношениях с бухарским эмиром Музаффаром и его сыном Абд ад-Маликом, хивинским ханом Мухаммадом-Рахимом II, кокандскими ханами Худояром и Насреддином, кашгарским эмиром Якуб-беком. Падению империи посвящена последняя глава книги «"Бухару и Хиву надо сохранить как автономные области": туркестанский генерал-губернатор А.Н. Куропаткин, бухарский эмир Алим-хан и хивинский хан Исфендиар».

Подводя итоги в Заключение, автор подчеркивает, что подходы руководителей региональной администрации существенно

менялись на протяжении рассматриваемого периода. Первый начальник Оренбургского края Кирилов не слишком много внимания уделял кочевым народам, «предпочитая строить глобальные проекты развития торговли и политического взаимодействия с Центральной Азией и Индией». Его преемник В.Н. Татищев, напротив, все силы бросал на изучение региона и его обитателей, жертвуя практической составляющей. В условиях отсутствия информации И.И. Неплюев «бросался из крайности в крайность, переходя от дипломатии к интригам и военным экспедициям». Кто-то формировал проекты преобразований, не учитывая специфику региона (М.М. Сперанский, О.А. Игельстром). Некоторые, как, например, И.И. Неплюев и В.А. Перовский, проводили независимую от центральных властей политику, «уповая на личное покровительство российских монархов и собственное знание специфики вверенного им региона» (с. 334–335).

Среди губернаторов были яркие администраторы и, напротив, достаточно невыразительные фигуры. Однако все они внесли свой вклад в формирование системы управления регионом. Их изучение «позволяет развеять стереотип о том, что политика России в Центральной Азии строилась исключительно на основе усмотрения императоров или центральных властей», – заключает автор.

О.В. Большакова

Кэмпбелл Й.В.

**ЗНАНИЕ И ЦЕЛИ ИМПЕРИИ:
КАЗАХСКИЕ ПОСРЕДНИКИ И РОССИЙСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ В СТЕПИ, 1731–1917
(Реферат)**

Campbell I.W.

**Knowledge and the ends of empire: Kazak intermediaries
and Russian rule on the Steppe, 1731–1917. – Ithaca:
Cornell univ. press, 2017. – XIV, 273 p.**

Если информация – это кровь государства, то Российская империя всегда балансировала на грани анемии; в особенности это касалось наиболее отдаленных частей империи, население которых сильно отличалось от славянского «ядра» по своему образу жизни, по языку и обычаям, начинается свою книгу Йен Кэмпбелл (Калифорнийский университет в Санта-Барбаре). Его исследование посвящено «попыткам Российской империи исправить эту фундаментальную проблему в одном стратегически важном, но трудноуправляемом регионе» – Казахской степи. Кэмпбелл подчеркивает, что история завоевания Казахской степи и управления регионом неотделима от производства знания о ней, причем как русскими, так и казахами. При этом, с одной стороны, не хватало информации по таким важным предметам, как кадастр, с другой – знание о степи с 1730 г., когда началось включение земель Малой, Средней и Большой Орды в состав империи, росло по экспоненте. По многим меркам, пишет автор, российский империализм в Средней Азии и Казахстане достиг успеха, и большой вклад в его достижение внесли как русские ученые и чинов-

ники, так и помогавшие им «казахские посредники». Знание о регионе, которое они вырабатывали соединенными усилиями, рассматривается в книге в социальном и административном контексте (с. 1–2).

Книга, основанная как на опубликованных, так и на архивных источниках, состоит из введения, шести глав и заключения. Во введении автор останавливается на теоретических основаниях изучаемой им проблемы. Отрекаясь от попыток создать «еще одно» деконструктивистское исследование о «репрессивной власти дискурса», автор вдохновлялся, по его словам, работами историков и философов науки, которые интересовались не столько самими словесными конструкциями (категориями и понятиями), сколько тем, как люди на основе поступающей информации формировали и пересматривали имевшиеся в их распоряжении мнения и догмы. Таким образом, эпистемологическую основу его книги можно было бы определить как «социально-конструктивистскую», что, однако, не исчерпывает ее содержания. Царские чиновники, пишет автор, жаждали получить такое знание, которое позволило бы им формулировать и проводить в степи «цивилизаторскую» политику, но при этом они основывали определенные институты (газеты, школы), что в совокупности создавало «дискурсивное и институциональное пространство», в котором в качестве проводников местных интересов могли действовать и казахи (с. 2–3).

Стержневое положение в исследовании занимает проблема взаимоотношений власти и знания в имперской ситуации, что неизбежно отсылает к так называемой «парадигме ориентализма», ведущей свое происхождение от знаменитой книги Э. Саида и востребованной в постколониальных исследованиях. В данном случае, пишет Кэмпбелл, мы имеем «давно знакомую» динамику: после проведения конкретно-исторических исследований выясняется, что исходный теоретический текст не приложим ко всем временам и странам. Исследователи российского ориентализма показали, в частности, что он был не столь монолитен, как считал Саид, более разнообразен и аполитичен. К тем же выводам пришли и исследователи других колониальных империй, продемонстрировав, в частности, что связь между наукой и политикой нельзя принимать как данность – она редко бывает прямой. Знание о стране не исчерпывается востоковедными штудиями, и очень часто администраторы используют идеи ученых совершенно в ином ключе. Кроме того, вопреки мнению Саида, в колониальном контексте знание производится в сотруди́нстве с местными акторами. В Казахской

степи, пишет автор, слабое имперское государство постепенно нащупывало пути и способы решения проблемы нехватки информации, и «казахские посредники» были «только рады» принести пользу (с. 3–4).

Кэмпбелл подчеркивает, что исторический контекст, в котором действовали «казахские посредники» – прежде всего, слабость государства в совокупности со сложными природными условиями региона, – предоставлял достаточно возможностей для маневра, не вынуждая их «сдаться на милость» идеологий и практик российского империализма (с. 9).

Еще один вопрос, который автор посчитал нужным прояснить во введении, касается уникальности российского империализма. Кэмпбелл полагает, что утверждения о его уникальном «великодушии» не выдерживают критики при ближайшем рассмотрении. Что касается резких различий, которые привыкли проводить между континентальными и «морскими» империями, то путешествие, скажем, из Москвы в Омск вряд ли было легче, чем поездка на пароходе из Марселя в Тунис. «Сложные», как считалось, отношения России с завоеванными и колонизованными землями на самом деле мало отличались от тех, которые были у западноевропейских держав с их «заморскими» колониями. Ничего уникального не было и в многонациональности российской элиты, пишет автор, напоминая о шотландцах, занимавших высокие посты в Британской Индии. Россия, по его мнению, – одно из имперских государств, типичных для XIX – начала XX в. Различия заключались в относительной слабости государства в Российской империи, в разнообразии правовых систем на разных ее территориях, в позднем развитии массового национализма, а также в сохранении династической, а не национальной модели империализма, что в конечном итоге давало шанс местным акторам быть услышанными, но отнюдь не гарантировало этого (с. 10–11).

В первых двух главах подробно рассматривается сумма знаний о Казахской степи, имевшихся в распоряжении российских администраторов и полученных из разных источников. Поскольку в основе авторского подхода лежит стремление «историзировать и контекстуализировать» имеющиеся источники, он выделил два значимых периода в познании Казахской степи «сторонними наблюдателями»: 1730–1845 гг., характеризующийся экстенсивностью, и 1845–1868 гг., который начался с «информационной революции» и завершился административными реформами.

В первой главе вместо традиционного очерка о географическом положении, природной среде и населении изучаемого региона читателю представлена картина, которую видели российские администраторы до 1845 г. Автор очерчивает круг источников, возникших в первое столетие изучения Казахской степи, специально останавливаясь на лакунах и противоречиях. Это многотомные труды экспедиций, организованных Академией наук в 1768–1774 гг. под руководством П.С. Палласа, геологических экспедиций И.П. Шангина (1816) и К.А. Мейера (1826), этнографическое «Описание Киргиз-Кайсацких орд и степей» А.И. Левшина и др. Кэмпбелл оговаривает особенности терминологии, складывавшиеся исторически: первоначально регион называли «киргизской» или же «киргиз-кайсацкой» степью, в то время как самоназванием населявшего их народа было «казахи». Однако, чтобы не было путаницы с «казаками», издавна служившими Российской империи, в XVIII–XIX вв. в русском языке был принят термин «киргизы». Автор изначально придерживается названия «казахи» (Kazaks), и в английском языке такой путаницы не возникает, поскольку «казаки» пишутся совсем иначе (Cossacks) (с. 17).

Информация о прошлом Степи была скудна и противоречива, пишет Кэмпбелл, и единственное, в чем сходились российские наблюдатели, было то, что в ней издавна существовали Большая, Средняя и Малая орда, которые сейчас назвали бы протогосударственными образованиями у казахов. Тем не менее довольно быстро возникает нарратив о вхождении казахов в состав Российской империи, который подправлялся с течением времени. Известно, что в 1730 г. Абулхаир-хан, правивший тогда Малой ордой, подал петицию императрице Анне Иоанновне с просьбой принять его и его народ в подданство России. Через несколько лет за Малой последовала и Средняя орда. Автор замечает, что Абулхаир-хан был лишь одним из игроков на политической арене Степи в то время (среди них он называет империю Цин и ханства Средней Азии), причем далеко не самым удобным союзником. В то время как для казахов, балансировавших между Россией и империей Цин, присяги на верность не имели всеобъемлющего значения, российские чиновники воспринимали их нарушение как «предательство». В российском нарративе первое время постоянно фигурировали указания на «дерзость» казахов, склонных к грабежам, и на их «ненадежность». Однако со временем утверждается мнение о ценности взаимоотношений с казаками, которые все же обеспечивали определенный уровень безопасности границ и торговли, «вполне

достаточный для скромных амбиций фронтирного государства, хотя позднее эти амбиции начнут расти», – пишет Кэмпбелл (с. 20).

В географическом отношении Казахская степь была крайне разнообразна и включала в себя как пустыни, так и луга, и оазисы. Ее северные границы с русскими владениями проходили по р. Урал на западе и р. Иртыш на востоке, на западе естественным пределом служил Каспий, южные же границы с туркестанскими ханствами и империей Цин не были определены (оазисы Семиречья, где расположен современный Алматы, в то время еще не находились под контролем России). По природно-географическим условиям Казахскую степь разделяли на плодородную северную часть (зону чернозема), которая сулила перспективы для земледелия, и бесплодную южную, переходившую в пустыню, со множеством солончаков. Как считалось, она как раз и была пригодна для казахов с их кочевым скотоводством (с. 22). Кроме того, в XVIII–XIX вв. проводили различия между западной и восточной частями Казахской степи, находившимися в ведении Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторств соответственно. Природно-географические условия здесь также различались, и восточная (сибирская) часть была значительно плодороднее. Общее мнение сводилось к тому, что южная часть Степи крайне неблагоприятна для освоения ее русскими людьми, и здесь приходилось полагаться на «ненадежных» казахов-кочевников (с. 24).

С точки зрения людей эпохи Просвещения, кочевничество являлось одной из стадий на пути человечества к цивилизации, предшествовавшей оседлому земледелию. Для модерного государства оно представляло собой серьезную проблему в отношении учета и контроля – основных инструментов управления населением. Невозможно было составить себе представление ни о количестве войска, которое могло бы быть выставлено в случае военных конфликтов, ни о благосостоянии казахов (которое они успешно преуменьшали). Кочевничество определяло и структуру управления у казахов – к этим институциям российские чиновники относились весьма негативно. В глазах чиновников начала XIX в. казахи-кочевники были не «благородными дикарями» времен Руссо, а просто «дикарями». Кочевничество представлялось препятствием на пути культурного и научного прогресса, и даже в религии не наблюдалось полного «развития»: кочевники-казахи, как считалось, были в лучшем случае «невежественными» мусульманами, в худшем – не мусульманами вовсе, а язычниками, у которых отсутствовали муллы и мечети (с. 27–28).

В течение столетия после присоединения Казахской степи к России российские администраторы и ученые выработали определенное понимание кочевничества, хотя и не во всем верное, пишет автор. Это была сложная паутина из фактов и стереотипов о кочевой жизни, которую можно было использовать по-разному в зависимости от позиции относительно желаемой формы имперского правления. Цивилизаторская миссия была желательна, если смотреть на казахов с точки зрения эволюционизма; жесткая стратегия управления отдаленной периферией определялась позицией природно-географического детерминизма.

Контроль царского правительства над Казахской степью, несмотря на периодические мятежи, со временем становился все сильнее. И хотя Российская империя изначально не имела не только четких намерений, но и знаний о регионе, постепенно складывались определенные ментальные модели управления им и его освоения. Эта проблема встала во весь рост в 1860-е годы, когда завоевание Туркестана сделало Казахскую степь фактически внутренней провинцией империи. К этому времени уже началось массированное ее исследование силами как Императорского Русского Географического общества (ИРГО), так и Генерального штаба. Их деятельность подробно освещается в главе второй.

Отмечается, что созданное в 1845 г. Географическое общество под попечительством вел. кн. Константина Николаевича так же, как и аналогичные общества в Лондоне и Париже, являлось одной из важных институций для сбора информации и не имело прямых политических целей, хотя и было в какой-то степени окрашено «духом патриотизма». В его задачи входил сбор географической и статистической информации о России, однако активнее всего проводились этнографические исследования. Подразумевалось, что собранная членами Общества информация окажется полезной для будущих реформ, которые реализовались в 1860–1870-е годы. Активными членами Общества и участниками его экспедиций стали выпускники Академии Генерального штаба, однако, как отмечает автор, в интеллектуальном контексте эпохи разные ветви знания и деятельности сливались воедино, зачастую в одном человеке, указывая, в частности, на фигуру Д.А. Милютин – профессора Генерального штаба при Николае I и военного министра и реформатора при Александре II. Под его руководством офицерами Генерального штаба и выпускниками его академии готовились многотомные «Материалы для статистики и географии России», а также публи-

кации в «Военном сборнике» и «Морском сборнике» – органах соответствующих министерств (с. 33–35).

Институциональная культура эпохи, пишет автор, требовала, чтобы административное решение принималось на основе наиболее полных знаний об объекте. Поэтому не было ничего удивительного в том, что когда началась подготовка административных установлений для управления Казахской степью и Туркестаном, были созданы комиссии для интенсивного изучения этих регионов в кратчайшие сроки. В связи с административной реорганизацией Казахской степи начала свою работу так называемая «Степная комиссия» (1865–1868), в состав которой вошли представители от МВД (Ф.К. Гирс – председатель), Военного министерства (полковник Генерального штаба А.К. Гейнс), Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторств (К.К. Гутковский и А. Проценко). Эту «мультиэтничную и мультиконфессиональную группу» объединяли как этос патриотического служения государству, так и ревностная приверженность практическому, полезному знанию, пишет автор (с. 36). Он подробно останавливается на описании деятельности этой экстраординарной по своему характеру комиссии, члены которой совершили множество объездов обширнейших территорий, собрали колоссальное количество информации, что включало в себя не только изучение архивов и опубликованных текстов, но и опросы администрации и местных жителей. Особое внимание было уделено перспективам освоения и развития Степи, местным управленческим и судебным институтам (судам биев), а также обычному праву казахов и проблемам религиозной политики. Участие местных экспертов – таких, как, например, Чокан Валиханов – было достаточно активным, но не определяющим для подготовки завершающего документа.

«Временное положение об управлении в степных областях Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторства», вносившее существенные изменения в административное устройство Казахской степи и открывавшее перспективы для дальнейшего продвижения имперской системы управления, было принято в 1868 г., причем только на два года. Созданное в контексте «обще-признанного незнания местных условий», оно представляло собой, по словам автора, «экспериментальный документ», открытый для модификаций. Однако в неизмененном виде Положение просуществовало до 1891 г.

Две последующие главы посвящены «казахским посредникам» – носителям местного знания и их участию в освоении степи.

Третья глава представляет собой исследование «имперской биографии» – жизни и деятельности казахского этнографа, писателя и просветителя Ибрая Алтынсарина (1841–1888). Автор назвал ее «хроникой мысли и практики российского империализма в Казахской степи», и она была исключительно многогранна, «не укладывавшаяся в прокрустово ложе советской историографии “дружбы народов” или современного национализма». В разных контекстах Алтынсарин представал «классовым врагом», потакающим русификации и колониализму; «демократическим просветителем», принесшим русскую культуру в отсталый регион; великим деятелем, способствовавшим развитию национальной литературы и культуры и формированию казахского литературного языка (с. 64).

Действительно, деятельность Алтынсарина разворачивалась не только на административном и педагогическом поприще (а он побывал и в должности помощника уездного начальника, и уездным судьей, был учителем и затем инспектором с присвоением ему чина статского советника, открыл несколько училищ и школ для казахов в Тургайской области и подготовил первые казахские учебники). Будучи литератором и ученым-этнографом, он находился в тесном контакте с ведущими русскими востоковедами своего времени, так же как и с администраторами разных рангов. Алтынсарин выработал свой вариант «цивилизаторской миссии», который нашел отражение в его произведениях и переписке. И хотя 1860–1870-е годы были достаточно благоприятны для взаимодействия «казахов-посредников» с российской администрацией, его влияние на формирование политики в отношении Казахской степи ни в коем случае не было прямым и непосредственным.

В четвертой главе на основе произведений акына Абая Кунанбаева (1845–1904) и на материалах прессы – «Киргизской степной газеты» и ежегодника «Памятная книжка Семипалатинской области» – исследуется участие казахской стороны в осуществлении «цивилизаторской миссии» в сибирской части степи в 1880-х – начале 1900-х годов. Подчеркивается, что в начале нового века значительно сокращаются возможности казахов «быть услышанными», и в немалой степени этому способствовал новый контекст – форсирование политики крестьянского переселения из Европейской России в Казахскую степь. Рассмотрению этого процесса посвящены две последние главы книги. Вначале автор уделяет внимание статистическим обследованиям Казахской степи, которые обрели особую актуальность после того, как новый «Степной статут» 1891 г. разрешил изымать у казахов «излишки» земли для

государственных нужд. Статистические данные обеспечили «научный фундамент» и юридическую основу для форсирования крестьянской колонизации, которая, как считалось, не должна была навредить казахским кочевникам. С точки зрения казахов, это была иллюзия.

Затем автор обращается к анализу взглядов самих казахов (и представителей других среднеазиатских народов), которые стремились отстаивать свои интересы в условиях «политического и экономического отчуждения» от метрополии. Последняя глава называется «Двойной провал», демонстрацией которого стало Туркестанское восстание 1916 г. – один из предвестников падения царского режима. По мнению автора, провал российского империализма в Средней Азии был двойным, поскольку представлял собой, с одной стороны, провал эпистемологический (отсутствие адекватного знания о регионе), с другой – политический, поскольку государство перестало поддерживать отношения с местными посредниками, которые оно культивировало ранее.

В заключении дается сводка представлений о степи казахских экспертов, много писавших о ее «переходном состоянии». «Нарративы прогресса и перехода», пишет автор, варьировали в зависимости от времени и места их написания, от личного опыта писавшего. Варьировали и рецепты исправления существующих проблем: для одних путь вперед лежал в европеизации, для других – в распространении «чистого» осовремененного ислама. Не были едины и взгляды на будущее Степи: с точки зрения царской администрации, она могла стать и вторым зерновым центром империи, и центром интенсивного рыночного скотоводства. Инструменты для достижения этих целей могли включать в себя как усиленные меры по просвещению, так и массовую крестьянскую колонизацию, и военное управление. Но и чиновники, и казахи-посредники сходились в том, что определенную роль в строительстве будущего Степи должно играть государство – различия лежали в видении того, как конкретно это будет осуществляться (с. 187–188).

Курс на активное вторжение в жизнь степняков, на привитие им оседлого образа жизни и развитие сельского хозяйства был взят правительством в 1890-е годы. Однако на ранней стадии оставалось еще пространство для компромисса, тем более что губернаторы были довольно скептически настроены в отношении переселенцев, а казахи не были единодушны в этом вопросе. Но по мере того как «переселение любой ценой» стало приоритетом государственной политики, поле для диалога неуклонно сужалось. Уско-

ренное переселение влекло за собой экспроприации, причем и оно имело под собой «научный» статистический фундамент. Цифры, пишет автор, теперь служили новой цели, и расчеты статистиков являлись «в лучшем случае агрессивными, и недобросовестными – в худшем». Политические нужды метрополии резонировали с «самыми пагубными плодами востоковедной науки», что в контексте усиливавшегося страха перед пантюркизмом и мусульманским реваншизмом ухудшало ситуацию (с. 189–190).

Не получив в 1907 г. представительства в Думе, казахи утратили трибуну для прямого и публичного выражения своих взглядов (а правительство – возможность услышать их жалобы), пишет Кэмпбелл. Негодование казахов и киргизов нарастало постепенно в ходе экспроприаций земель и лишения их привилегий. Ситуация с мобилизационным приказом июня 1916 г., когда казахские эксперты не имели даже возможности предложить иной, более удачный способ его выполнения, вызвала взрыв, который автор относит исключительно за счет губительной, злополучной политики правительства.

Подводя итоги, Кэмпбелл пишет, что в Казахской степи, как и в других колониальных империях, знание о регионе и его населении составляло важную часть процесса консолидации, поддержания и трансформации системы управления. По иронии судьбы, ровно тот момент, когда царские администраторы поверили в полноту своего знания о степи, являлся самым сложным и угрожающим для системы имперского правления. Это стечение обстоятельств и привело к столь плачевному результату (с. 190).

О.В. Большакова

Дунаева Ю.В.

**ИСТОРИЯ ИМПЕРИИ В БИОГРАФИЯХ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЖ, ВОИН, ПРОСВЕТИТЕЛЬ
(Обзор)**

Когда заходит речь об истории империи, то, как правило, первый возникающий образ связан с пространством, протяженностью земли, с разнообразием отношений центр – периферия (или колония – метрополия). Как пишет известный современный историк А.И. Миллер, «имперский нарратив, который в значительной мере унаследован современной русской историографией – во всяком случае, той ее версией, которая отражается в учебниках истории, – неизменно фокусировался на центре, на государстве, на власти» [2, с. 6]. Современные исследователи обращаются и к человеческому фактору, причем речь идет о жизни любого «имперского человека», жителя империи, будь то ее глава – император, или простой человек¹.

В обзоре рассматриваются работы, посвященные разным представителям «человека имперского». Следует отметить, что это не просто биографии, а попытки с разных позиций, в разных ракурсах и контекстах исследовать историю империи через «человеческое измерение». И таким образом показать, как жизнь в империи влияет на человека, как складывается характер и судьба и как человек влияет на развитие империи, выстраивая свою судьбу и карьеру в определенном, имперском контексте. Поэтому отобраны биографии представителей разных сословий и со-

¹ Подробнее об этом см.: Повествование о себе: Новые имперские биографии // Ab imperio. – Казань, 2009. – № 1. – URL: <https://abimperio.net/cgi-bin/aishow.pl?idlang=2&state=shown&idnum=74>

циальных слоев: государственного деятеля, военного, служителя церкви.

Жизнь и деятельность графа Сергея Юльевича Витте (1849–1915) достаточно хорошо освещена в современной историографии¹. Непросто найти новый аспект, поворот для оригинального рассказа о жизни и деятельности этого выдающегося человека, но американскому историку Фрэнсису Вчисло [5] это удалось. Его книга – это не биография, а именно история Российской империи второй половины XIX – начала XX в., рассмотренная «через оптику жизненного пути», что отражено в названии – «Рассказы об императорской России. Жизнь и эпоха Сергея Витте, 1849–1915». Автор рисует образ «человека империи», выделяя в названиях глав не вехи жизни, а географию – основные места проживания и деятельности С.Ю. Витте, и показывает, как формировалась и менялась его индивидуальность.

Яркая, многогранная личность Витте проявлялась во многих сферах, а не только в политической и государственной деятельности. Широкие интересы и энциклопедический интеллект Витте нашли свое выражение в создании архитектурных проектов, организации арктических экспедиций, международных торговых ярмарок и т.п. О разнообразии его интересов свидетельствует личная библиотека. Ее составляли тома по географии, истории, политической экономике, литературе, естествознанию. Сам Витте – автор работ по политической экономике, мемуаров [5, с. 2–3].

Для историков эпохи Витте предстает «архетипом царского государственного деятеля», сделавшим блестящую карьеру «министра, модернизатора, промышленника, дипломата и реформатора». Он получил доступ к «самой ценной валюте царского государства – власти». Как он ее использовал – вопрос, открытый для научных дискуссий, пишет Вчисло.

Приступая к написанию своего труда, Вчисло обратился к множеству источников, и из «какофонии голосов», которые сообщают нам о жизни Витте, он выделил один, который принадлежит ему самому и звучит в его «Воспоминаниях» [5, с. 3].

Витте с исключительным вниманием относился к собственной репутации, подчеркивает Вчисло. Министр внимательно следил за тем, что пишут о нем в прессе. Он был одержим, по словам

¹ Например: *Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш.* Сергей Юльевич Витте и его время. – СПб., 1999. – 430 с.; *Сагинадзе Э.* Реформатор после реформ: С.Ю. Витте и российское общество. 1906–1915 годы. – М.: НЛО, 2017. – 410 с. и др.

автора, собиранием и хранением личных и деловых бумаг и собрал большой личный архив, «посвященный его любимому предмету – собственной персоне». В число использует «Воспоминания» С.Ю. Витте и другие документы из его личного архива – письма, телеграммы, деловые бумаги и проекты, обильно и подробно цитируя их. Таким образом он дает возможность «говорить» источникам, называя Витте – рассказчиком: «Это повествование о рассказчике и его истории. Это – история Сергея Юльевича Витте, он же и рассказчик» [5, с. 2]. Наряду с этим использованы материалы из Бахметевского архива, российских архивов, опубликованные работы Витте и др.

В число подчеркивает: при чтении мемуаров Витте заметно, что они написаны русским имперским человеком, живущим и мечтающим в XIX «веке империй». Реалии империи формировали не только его поведение, но и его воображение и мечты – о путях развития государства, общества, культуры. Великие мечты и иллюзии были характерны для всей Европы в период «долгого девятнадцатого века», замечает автор, ссылаясь на Э. Хобсбаума [5, с. 10].

«Закавказье. Семья и детство на границе империи, 1849–1865» – первая глава сразу вводит читателя в имперский контекст. Сергей Юльевич Витте – третий сын в семье чиновника среднего класса. В нем причудливо смешались разные крови и вероисповедания: отец – прибалтийский немец, лютеранин, принявший затем православие, мать – русская, православная. Сам Витте предпочитал упоминать о своих русских, аристократических, московских корнях. Можно предположить, что автор не случайно так подробно прослеживает его генеалогию, показывая, как смешивались разные нации, религии и культуры, социальные слои, словно род – это микроскопическое отражение империи.

Кавказ, где прошло детство Сергея, – окраина Российской империи, «сказочная российская Индия», где «разум Европы встречается с Азией» [5, с. 14]. Витте вырос в семье русских чиновников и офицеров, мужчин, служивших на окраинах империи, где талант и настойчивость позволяли продвигаться по карьерной лестнице. Но и женщины, сочетавшие традиционные женские роли с ярким умом, артистичностью и самостоятельностью, внесли свой вклад в воспитание и формирование характера мальчика. Именно влияние женщин заложит в нем склонность давать волю своему бурному воображению и мечтательности, полагает В число [5, с. 56].

Дальнейшему формированию молодого человека в принципиально новых условиях посвящена вторая глава – «Имперская идентичность, совершеннолетие в Новороссии, 1865–1881». Сергей Витте поступает в Новороссийский университет в Одессе – международном торговом портовом городе. Потомственный дворянин по происхождению и воспитанию сталкивается с совершенно новой средой: обстановка и условия жизни в Одессе отличаются от Тифлиса и Кишинёва, а университет славится как рассадник студенческого нигилизма и радикализма. Витте не очень интересовался этими настроениями, он был монархист по своим убеждениям, любил математику, но при этом не был чужд типично студенческих развлечений.

В биографиях субъект исследования часто рассматривается или сравнивается с неким идеальным образом, архетипом. Вчисло также использует этот прием, называя своего героя «сознательным викторианцем» [5, с. 15, 75 и др.], подчеркивая его «европейскость» [5, с. 15]. Да и сама обстановка в России конца XIX в. напоминает автору викторианскую Англию. Эпоха Великих реформ, пишет Вчисло, повлияла на все сферы российской жизни, от деревни до университетских аудиторий. Вчисло характеризует это время как эпоху «тектонических сдвигов».

Годы, проведенные молодым человеком в Одессе, Петербурге и Киеве, сформировали его «калейдоскопическую идентичность человека Викторианской эпохи», пишет автор. Витте приехал в Одессу колониальным парвеню, но его семья обладала определенными связями – фундаментом для новых связей и новых отношений. Его эмоциональная жизнь, дружба, отношения с людьми разного круга тоже характерны для викторианца: он был поклонником красоты и манер, таланта и знаний, хорошей репутации и умения адаптироваться к быстро меняющимся условиям.

Профессию молодой Витте выбирает тоже характерную для Викторианской эпохи, новое быстроразвивающееся направление – железную дорогу, самую революционную коммуникацию того времени. «Железная дорога вела его по Российской империи: от пограничного поста в Грузии, через главный южный порт до одной из ее цитаделей, “матери городов русских, Киева”», – пишет автор [5, с. 89].

В Киеве 1880-х годов начинает оформляться профессиональный путь Сергея Юльевича Витте. Он делает карьеру в викторианской среде, пишет Вчисло, в мире, где интеллект, талант, бизнес и технологии приносят типично мужской профессиональный опыт в крупные корпоративные и правительственные организации.

В 1886 г. Витте занимает пост управляющего Обществом Юго-Западных железных дорог. Это частное, но субсидируемое правительством акционерное общество. В сферу ответственности Витте входила организация перевозок грузов и пассажиров на юг, в сторону Черного моря, на запад в Европу, на север Европейской России и на восток к долинам реки Волги и дальше к пространствам Сибири. Эта деятельность формирует у Витте ясное представление об империи в ее географическом измерении, подчеркивает В. Число.

В 1889 г. по приглашению императора Александра III С.Ю. Витте переходит на государственную службу. Он назначен начальником Департамента железнодорожных дел при Министерстве финансов.

Автор книги подробно останавливается на отношении Витте к императору. «В воспоминаниях Витте он [Александр III] был одновременно мощным символом легитимности царского правления Романовых и идеальным типом человека, правильного, правдивого, честного и сильного, внушавшего Витте чувства определенности, уверенности и даже веры, несмотря на калейдоскопическое будущее, маячившее перед ним. Среди тех, кто повлиял на становление личной и профессиональной идентичности Витте, тех, кто формировал его представление о себе как о человеке и имперском субъекте, ярко выделяется фигура императора, которому он преданно служил и чью память ревностно защищал» [5, с. 127].

«Город мечты: Санкт-Петербург – империя царей и имперские горизонты “позолоченного века” (1889–1903)» – центральная глава повествования. В начале 1892 г. Витте назначен на пост министра путей сообщения, а в августе становится министром финансов. Этот пост он занимает 11 лет в триумфальные «позолоченные» годы, как характеризует это время автор, напоминая о «позолоченном веке», наступившем в США после окончания Гражданской войны. В. Число подробно останавливается на разнообразных достижениях своего героя на этом посту – вершине его личной и общественной карьеры, и показывает их поистине имперский размах.

Витте был одним из влиятельнейших людей в Российской империи, близким советником двух царей. Он ускорил строительство Транссибирской магистрали, связавшей европейскую часть страны с Дальним Востоком, провел денежную реформу 1897 г. и обогатил царскую казну. Автор отмечает, что была принята новая денежная единица, золотой рубль с характерным названием – империал [5, с. 16]. Витте расширил участие государства в экономике, в результате чего она стала более привлекательной для инве-

стиций, в том числе и зарубежных. Он стал международным дипломатическим деятелем и «ловко управлял имперскими финансами и банковскими делами в Европе, Китае, Северной Америке, Средней Азии. Он обладал властью и влиянием в каждом уголке Санкт-Петербурга» [5, с. 139].

В эти петербургские годы Витте следовал за своей мечтой: социально-экономическое, культурное и политическое преобразование, модернизация империи. Несмотря на нарастание трудностей в годы царствования Николая II, Витте верил в монархию и царское самодержавие, но при этом понимал необходимость политического обновления, политических реформ.

Деятельность Витте на посту министра финансов основывалась на убеждениях, подкрепленных всем его предыдущим опытом, пишет Вчисло. Во-первых, в Российской империи требовалось реформировать экономику, переориентировать ее на промышленный капитализм. Новая экономическая система должна объединить промышленное производство, сельское хозяйство и торговлю, чтобы увеличить приток инвестиций. Во-вторых, необходимы реформы и новые технологии в сельском хозяйстве, расширение рынков сбыта. В-третьих, Витте понимал значимость растущего международного капитала. И, наконец, в-четвертых, он видел, что происходит формирование глобальной экономики, в которой российская экономика, зависимая от сельского хозяйства и экспорта сырья, не сможет конкурировать с промышленно развитыми, более современными и могущественными государствами. Эпоха империи требовала от государства управления экономикой и обеспечения ее промышленного развития [5, с. 140–142].

Подводя итоги блестящей карьере Витте, автор пишет о том, что в петербургский период многие его мечты осуществились, однако они привели не только к экономическому процветанию и росту могущества империи, но и к международным осложнениям, военным авантюрам, поражению в войне с Японией, а затем и к политическим беспорядкам и последовавшей отставке [5, с. 144].

В заключительной, пятой главе «Из изгнания: Мемуары о революционной России 1903–1912 гг.» Вчисло рассказывает о попытках Витте реформировать и сохранить Российскую империю после поражения в войне и революционных потрясений.

По мнению Вчисло, два момента в деятельности Витте увековечивают его имя в истории России. Во-первых, его участие в составлении «Манифеста 17 октября». Во-вторых, назначение его на пост председателя Совета министров. Занимая эту должность

всего шесть месяцев, «Витте изо всех сил пытался восстановить общественный порядок» [5, с. 191]. Но, как показала история, возможности компромисса становились все более призрачными, и в апреле 1906 г., накануне созыва Первой Государственной думы, С.Ю. Витте подает в отставку.

Но и в отставке Витте остается сыном своего века: первое время он активно путешествует за границей, где старается создать благоприятное мнение о России. Не менее важной была и его литературная деятельность. Он пишет многотомные «Воспоминания», в которых он – рассказчик – представляет свои рассказы о событиях своего времени и о России.

Итак, какой же предстаёт фигура Сергея Юльевича Витте, мечтателя и технократа, финансиста и дипломата, чиновника, бизнесмена и литератора, убежденного монархиста и сторонника демократических реформ? В число заканчивает книгу цитатой из А.Ф. Кони: «Он был словно Гулливер, связанный по рукам и ногам в стране лилипутов» [5, с. 253].

* * *

Следующая фигура совершенно иная, и путь жизни, хоть и влекомый мечтами об империи, описал качественно иную траекторию. Речь идет о легендарном «кровавом бароне» – Роберте-Николасе Максимилиане (Романе Фёдоровиче) фон Унгерн-Штернберге (1886–1921).

Неординарность его характера и поведения, иногда граничившая с патологией, проявилась особенно ярко в годы войн и революции. Уже при жизни его личность была окутана легендами и мифами.

Как пишет С.Л. Кузьмин, несмотря на значительное количество работ о нем (к 2010 г. их начитывалось более 700), его личность постоянно привлекает внимание писателей и исследователей [1, с. 3]. Открытие архивов в 1990-е годы в России и Монголии подстегнуло этот интерес. Но, как отмечает этот автор, часть материалов в 1930-е годы в СССР и Монголии была уничтожена. Да и к тем, что остались, надо относиться осторожно: «Но даже допросам Унгерна нельзя доверять слепо. В протоколах двух допросов есть искажения. Это не стенограммы, а отредактированное изложение ответов. Большевики могли кое-что неверно понять, отдельные ответы интерпретировали выгодным для себя образом,

а некоторые сведения, важные для пропаганды, вставили позже. Кроме того, в этих записях большевики использовали свой понятийный аппарат, чуждый Унгерну (например, “внимание широких масс желтой расы и кочевников”).

Автор одних мемуаров писал, будто на допросах барон заискивал перед красными, просил сохранить ему жизнь, предлагая свои услуги как проводника через пустыню Гоби. Материалы самого допроса говорят не только об обратном, но и о том, что данного автора не было в числе допрашивающих» [1, с. 5].

К истории жизни Унгерна обращались разные авторы, от историков до философов, от геополитиков до публицистов. О нем созданы разные произведения, от научных работ до комиксов, отмечает Кузьмин.

Неудивительно, что к такой таинственной и легендарной, известной, но в то же время не до конца изученной фигуре обратился американский историк Уиллард Сандерленд [3]. Он поставил целью не просто изучить биографию Унгерна, а показать историю Российской империи начала XX в., ее распад, попытку создания новой империи через жизнь барона. Так же как и в работе Ф. Вчисло, в этой книге жизнь человека используется в качестве своего рода «исторической оптики», линзы, сквозь которую анализируется прошлое.

У. Сандерленд также обращается к пространству империи, поэтому и в названиях глав вынесены не вехи жизни героя, как это делается обычно в биографиях, а названия знаковых и значимых мест, городов и регионов: «Грац», «Эстляндия», «Санкт-Петербург, Маньчжурия, Санкт-Петербург», «За Байкалом», «Река Черного Дракона», «Кобдо», «Земля войны», «Домен атамана», «Урга», «Кяхта», «Красная Сибирь». Итак, география, земля, центр и периферия, столицы и регионы – главные узловые моменты, именно с опорой на них и рассказывается история империи и история жизни. Причем речь идет о двух империях, реальной и воображаемой: о жизни барона Унгерна в Российской империи и о его мечтах и попытках создать на ее руинах новую империю.

Сандерленд подчеркивает, что его исследование – это микроистория [3, с. 4, 8]. Он пишет, что биография рассказывает о жизни субъекта, а итогом становится объяснение уникальных качеств, или причин, в силу которых жизнь этого индивида имеет особую ценность или значение. «В микроистории наоборот, метод может включать в себя рассказ о жизни, но сама жизнь при этом выступает в качестве инструмента. Цель состоит в том, чтобы ис-

пользуя рассказ о жизни объяснить что-то еще, нечто большее» [3, с. 8–9].

Почему именно эта необычная, но, казалось бы, достаточно изученная и в то же время окутанная мифами и неясностями жизнь привлекла внимание историка? «Унгерн – человек империи в самом полном смысле этого слова. Он родился в провинциальном, сонном городке Грац, в Габсбургской империи, и спустя тридцать пять лет был расстрелян в Западной Сибири. Его жизнь между двумя этими точками была непрерывным движением через имперские пространства: вначале Кавказ и Эстляндия (ныне Эстония), где он вырос; затем Санкт-Петербург, где он окончил военное училище; Маньчжурия, там он служил во время Русско-японской войны, а затем Забайкалье, Амур... Во время Первой мировой войны Унгерн возвращается на европейскую часть территории Российской империи и воюет на разных фронтах от Восточной Пруссии до Северной Персии. И в 1917 г. он снова возвращается в Забайкалье, и надевает погоны командира войска казачьего атамана Семёнова» [3, с. 7].

Путешествуя по пространствам империи, менялся и сам барон Унгерн, менялись его черты «человека имперского». Он прекрасно владел несколькими языками, европейскими и восточными; крещенный в лютеранстве, с возрастом он разработал собственную систему философско-религиозных взглядов, сочетавшую мистическое христианство и буддизм. По рождению принадлежавший к высшему сословию, он большую часть жизни провел среди военных, и не просто военных, а особой, можно сказать, касты, сословия, – среди казаков. Он полностью впитал в себя имперскую идеологию, утверждает Сандерленд, куда автор относит и такие компоненты, как антисемитизм и восхищение Азией [3, с. 7–8].

«Величайшая ценность барона Унгерна для микроистории империи состоит в том, что мы можем рассмотреть сложнейшие вопросы его времени. Каждое из мест его пребывания словно моментальный снимок аппарата империи: политики правительства, динамики локального общества, переплетения культур, – все это дает нам возможность почувствовать парадоксальную комбинацию имперской силы и слабости» [3, с. 10].

Важную символическую роль в исследовании играет монгольский халат – дээл, который носил Унгерн (в тексте *sloak* – плащ). Очевидцы, а также другие исследователи тоже упоминают дээл. Причем описывают его по-разному: то как ярко-вишневый халат полководца, чтобы его лучше видели войска; то как потре-

панный и пыльный и даже дырявый плащ кочевника или же воина (1). Этот халат, снятый бароном только перед расстрелом, сохранился до наших дней и находится в фондах Центрального музея Вооруженных сил в Москве.

Сандерленд особо останавливается на происхождении Роберта Николауса Макса фон Унгерн-Штернберга, родившегося 10 января 1886 г. в небольшом, старинном городке австрийской империи Граце. Он принадлежал к высшей аристократии Европы. Его мать – София Шарлотта фон Вимпфен (1861–1907) – родом из старинной дворянской семьи, корни которой уходят в средневековую Южную Германию. Отец принадлежал к еще более старинному и благородному роду – Теодор IV Леонгард Рудольф фон Унгерн-Штернберг (1857–1918 / 1923) – представитель одного из знатных графских и баронских немецко-балтийских родов, чье происхождение документально прослеживается до XIII в.

В первой главе У. Сандерленд рассказывает историю Граца, прослеживает родословные отца и матери героя произведения. Он очерчивает положение немцев в Габсбургской империи, уделяя особое внимание семье Унгернов. Историк подчеркивает космополитизм семьи, покинувшей Грац в 1889 г. и переехавшей в Российскую империю. Одна империя сменила другую, замечает Сандерленд. Первоначально Унгерны поехали на Кавказ, где провели два года. Именно там, в Тифлисе, начинает формироваться характер Романа. От этого времени сохранилась приведенная автором в книге фотография маленького Романа, в традиционной для этой местности одежде – черкеске. Фото словно предсказывает дальнейшую судьбу маленького барона – военную.

Вскоре семья переехала в Эстляндию, а именно в Ревель (современный Таллинн). В главе, посвященной ревельскому периоду жизни Романа, автор останавливает внимание на экономических и социальных особенностях положения прибалтийских немцев. Он отмечает, что хоть эта территория и входила в состав Российской империи уже полтора века, она была наименее русской. Основу правящего класса составляли немцы, население было в большинстве своем эстонским, а русские были представлены незначительным меньшинством, по преимуществу военными и официальными лицами. Сандерленд подчеркивает черту, присущую устройству Российской империи: «Русские, как и другие правители империи до них, использовали местные элиты, чтобы укрепить свою власть по мере расширения государства на нерусских территориях» [3, с. 26]. Отношения в этой части Российской империи

складывались по типу «quid pro quo» (услуга за услугу). «Местной знати было разрешено сохранить свои земли и привилегии. Они были инкорпорированы на равных правах в среду русской аристократии. По сути, они были куплены. Взамен они обещали свою верность царю» [3, с. 28].

Родители Романа развелись в начале 1890-х годов. Его мать Шарлотта вскоре вышла замуж за местного представителя старинного рода, барона Оскара фон Гойнинген-Гюне (1860–1919). Вместе с детьми они переехали в его поместье, расположенное в лесистой местности в Ярваканди, неподалеку от Ревеля.

Историк отмечает двойственность жизни прибалтийских баронов. С одной стороны, они вынуждены были смириться с приходом новых промышленных технологий капиталистического производства, с изменениями социально-экономических отношений. С другой стороны, они оставались глубоко консервативными людьми, крепко цепляющимися за свои традиции, предпочитая жить в собственных поместьях и не менять традиционного векового уклада жизни. Сельская усадьба была своего рода идиллией, убежищем дворянина, его местом в мире и в то же время вне мира, – так поэтически определяет ситуацию Сандерленд.

Первоначальное образование Роман Унгерн получил, как это было принято среди дворянства, дома. А дальше перед подростком открывалось несколько путей: продолжить обучение дома, отправиться на учебу в Германию, поступить в Санкт-Петербурге в дорогостоящую немецкоязычную гимназию или учиться в русскоязычном учебном заведении.

Именно тогда, по мнению автора, и происходит первое серьезное значительное изменение в личности Романа – его «русификация», совпавшая с процессами, происходившими в регионе, одним из которых было закрытие немецкоязычных гимназий. Сандерленд полагает, что русификация имела двойственный характер. С одной стороны, она была явно насильственной, карательной мерой, чтобы показать баронам и нерусскому населению, кому принадлежит настоящая власть. С другой стороны, она действительно была необходима для стандартизации и повышения эффективности государственного управления и как средство поддержки латышей и эстонцев.

Роман Унгерн обучался в Николаевской Первой гимназии – старейшей школе Ревеля. Среди учащихся были дети из дворянских, разночинских, крестьянских семей, русские и евреи, немцы и эстонцы. Большинство из них были лютеранами. Важнейшим эле-

ментом обучения было воспитание патриотизма. Такие гимназии, как Николаевская, пишет историк, «были своего рода лабораториями по воспитанию русско-ориентированного патриотического сообщества» [3, с. 39]. Все учащиеся изучали русский язык в обязательном порядке, перед началом занятий они пели «Боже, Царя храни». Но автор упоминает и имперскую толерантность: велось преподавание немецкого языка, эстонцы могли изучать эстонский язык; у каждой из христианских общин (православные, лютеране, католики) был свой урок Закона Божьего. У евреев, продолжает автор, таких уроков не было.

Молодой Роман не отличался склонностью к учебе; как показывают архивные материалы, он получал низшие оценки по русскому языку, входил во вторую, низшую категорию учащихся, а одно время был худшим учеником класса. В этот период, полагает историк, юноша Роман был формально русским подданным, но духом тесно связанным с немецким, прибалтийским баронством.

Окончив гимназию, Роман отправился на учебу в столицу империи – Санкт-Петербург. Сандерленд кратко описывает историю города, называет его космополисом (глава 3 «Санкт-Петербург, Манчжурия, Санкт-Петербург»).

Возможно, следуя семейной традиции, родители определили Романа в Морской кадетский корпус (1903–1905), готовивший элиту военно-морского офицерства. Кадеты получали специальное и гуманитарное образование, изучали естественные науки и иностранные языки. Еще одной важной особенностью была тесная связь училища и императорского Двора. Старшие кадеты (мичманы) проходили службу во дворце. Царь и члены императорской фамилии посещали учебное заведение, принимали участие в летних морских стажировках курсантов. Возращение абсолютной преданности царю и отечеству было целью учебного заведения, пишет автор [3, с. 45].

С началом Русско-японской войны вольноопределяющийся Роман Унгерн, отчисленный к этому времени из кадетского корпуса, поступает в 91-й пехотный Двинский полк. А Сандерленд, приводя этот эпизод, отмечает, что, возможно, Роман взял пример со своего отца, который также прервал учебу и отправился воевать с турками [3, с. 50].

Итак, мы находим Романа Унгерна в военном эшелоне, направляющемся в Маньчжурию. Здесь Сандерленд делает отступление и описывает роль Транссибирской магистрали в империи. Несмотря на некоторые недостатки, ее строительство и эксплуата-

ция способствовали экономическому росту империи: развивалась экономика Дальнего Востока, осваивались земли, русифицировалось население, столичные новости быстрее доходили до окраин и т.п.

Сандерленд особо подчеркивает важность освоения территорий Дальнего Востока. «Поколение Унгерна было первым поколением русификаторов, также оно было первым поколением, живущим в условиях этой новой ориентации на Восточную Азию. Что, в свою очередь, усиливало общие взаимосвязи в империи. Для людей того времени жизнь таких далеких городов, как Харбин или Владивосток, оказывалась тесно связанной с развитием старых европейских столиц, таких, как Гельсингфорс и Варшава, потому что теперь стало гораздо легче перемещаться между ними. А в газетах сообщения о них соседствовали. Хотя Русско-японская война в итоге стала катастрофой для русских, по иронии судьбы, она только подтвердила и укрепила эти новые реалии. Благодаря Транссибу империя начала поворачиваться к Азии, что сделало Восток более значимым для Запада, а Запад значимым для Востока» [3, с. 53].

Как отмечает другой автор, С.Л. Кузьмин, несколько месяцев, проведенных «на Маньчжурщине» (как говорили в те времена), оставили неизгладимый отпечаток на личности Романа Федоровича. Это был особый, ни с чем не сравнимый край, особые, ни с чем не сравнимые условия жизни. Земля, на которой расположились русские, представляла собой «государство в государстве, со своей территорией, властями и главой правительства» (цит. по: [1, с. 54–55]). Что касается отношения к местному населению, то «желтых» считали «нехристями», «идолопоклонниками» [1, с. 58].

Вернувшись в Санкт-Петербург, Унгерн, теперь уже боевой офицер, продолжает профессиональное обучение в Павловском военном училище. Получив офицерские погоны, он выбрал местом службы полк забайкальских казаков, размещенный на границе с империей Цин.

Сандерленд в главах «За Байкалом» и «Река Черного Дракона» ярко, сочно и колоритно описывает Сибирь и Восточное Забайкалье, природу и общую обстановку, уделяя внимание повседневности казачьих пограничных войск. Он приводит один из смутных эпизодов, характерных для истории жизни Романа Федоровича. В 1910 г. он покинул полк и отправился на Амур. Одни источники пишут о дуэли, другие – о пьяной драке. От этого эпизода у Унгерна остался шрам, и все последующие годы его мучили

мигрени, отмечает Сандерленд. В протоколе допроса 1921 г. отмечен «шрам от дуэли, полученной на Востоке» (цит. по: [3, с. 83]).

Новым местом службы Унгерн стали войска амурских казаков, штаб-квартира которых была в Благовещенске. Согласно одной из версий, весь путь туда барон проделал в одиночку, верхом, в сопровождении охотничьей собаки. Якобы это было проделано на пари как испытание.

В 1913 г. Роман Унгерн принимает неожиданное важное решение – он покидает армию. Судя по документам, «по семейным обстоятельствам» [3, с. 101]. Он постарался уехать как можно быстрее. В чем же причина подобного решения? Барон отправился в г. Кобдо, намереваясь присоединиться к монгольским войскам в их борьбе за независимость.

В это время отношение к «желтой расе», к Востоку, Монголии, Тибету, Китаю изменилось. Восточные философии и религии, культура, артефакты стали вызывать жадный интерес западной публики. В начале 1900-х годов создавались религиозные и философские кружки, теософские общества и т.п.; в моду вошли буддологи и монголоеды, специалисты по Востоку.

Что же делал и с кем воевал Унгерн во время пребывания в Кобдо? Это еще одна загадка его жизни, пишет историк. Барон исчезает из поля зрения и появляется год спустя, в совершенно иных обстоятельствах: на территории Восточной Пруссии в разгар Первой мировой войны.

«Земля войны» – в этой главе Сандерленд, опираясь на источники, в том числе и ранее не изученные, подробно излагает ход боевых действий, в которых принимал участие Унгерн. Начало войны, полагает Сандерленд, привело его в восторг [3, с. 125]. Во всяком случае, Унгерн предпринял все необходимые шаги, чтобы как можно скорее попасть на фронт. Его выбор вновь остановился на казачьих войсках, в этот раз донцов. Из документов известно, что уже в ноябре 1914 г. он был награжден орденом Святого Георгия.

Восточная Пруссия, Польша, Карпаты, Северная Персия – места, где воевал Унгерн. Он неоднократно был отмечен за доблесть и храбрость в сражениях, но были и взыскания – за неподобающее поведение. Во время Первой мировой войны Унгерн встретился с молодым офицером казачьих войск – Г.М. Семеновым, ставшим затем атаманом, чьи войска будут контролировать территории в Забайкалье и на Дальнем Востоке.

Уделяя внимание Первой мировой войне как историческому явлению, Сандерленд подчеркивает ее мультиэтничный и импе-

риалистический характер. На фронтах столкнулись новые и старые династические империи: Австрийская, Германская, Османская, Российская. Первая мировая война предстает в работе Сандерленда орудием уничтожения империи, потому что ее конечным результатом стала дискредитация империи как политической формы государства [3, с. 128].

Интересна точка зрения Сандерленда на Февральскую революцию как на разрыв устойчивых представлений об империи с возникновением новых взглядов на нее. С падением самодержавия, пишет историк, появилась демократичная идея восстания разных народов, этносов во имя своей идентичности. Стали формироваться отряды по этническому или религиозному принципу: латышские, эстонские, мусульманские и т.п. Причем идея этнической самостоятельности стала популярна не только среди интеллектуалов, но и в самом Временном правительстве. «Многие из лозунгов 1917 г.: “За автономную Эстонию в свободной России!”, или “Свободная Армения за свободную Россию!” – и другие варианты отразили восприятие революции как момент обновления империи. Старая русификаторская империя закончилась, но не закончилась возможность самой империи» [3, с. 147].

Ко времени Февральской революции Унгерн находился на территории Северной Персии. После прихода к власти большевиков Семёнов, вместе со своей правой рукой – Унгерном начинает сражаться против них на территории Забайкалья и Китайско-Восточной железной дороги.

В основе идеологии атамана Семенова, пишет историк, лежала идея восстановления государства. Как большинство военных, он был государственным. Поскольку большевики уничтожили государство, в его глазах они были врагами, антипатриотами. А себя он рассматривал как великого реставратора государства. Недаром он обращался к казакам-станичникам с призывом подняться и прийти на помощь Родине [3, с. 153–154].

Сандерленд отмечает интересный момент: в период имперского правления основная сила – власть – находилась в центре и двигалась от центра к периферии. А в годы, когда империя распалась, наоборот, от периферии к центру. Периферия в своих собственных глазах стала центром, отмечает он. Со временем, мечтал Семёнов, из Читы (место дислокации) его антибольшевистское царство будет расширяться и крепнуть: «Россия будет восстанавливаться из Забайкальской земли, регион за регионом» [3, с. 153–155].

Осенью 1920 г., после того, как части Красной армии продвинулись по территории Забайкалья, Унгерн во главе Азиатской дивизии отправляется в Монгольский поход. Сандерленд кратко описывает основные моменты боев в Монголии. Гораздо больше места он уделяет боям за Ургу, а также частным проблемам – организации снабжения войск, отношению к монголам и т.п. Автор рассказывает о еврейском погроме, который учинили войска Унгерна после захвата Урги. Но, и это отмечено одним из рецензентов, «почему-то не рассматривается план реставрации монархий, о котором барон сообщал в своих письмах, а затем – на допросах»¹.

Зато у другого автора, С.Л. Кузьмина [1], целая глава отведена общественно-политическим взглядам барона Унгерна. Приведем основные, опорные моменты его воззрений. Барон «был сторонником абсолютной монархии, опирающейся на религию» [1, с. 385]. «Детализируя, Унгерн говорил, что у власти должна быть только аристократия, помещики должны владеть землей, рабочие – работать. Ни крестьяне, ни рабочие не должны иметь права на организации, газеты и т.д.» [1, с. 386]. Образцом монархического правления был для него Восток: «Как погибает человечество на Западе под влияниями социалистических и анархических учений, так воскресает человечество на Востоке, хранящее в своих сердцах священные устои монархизма... Свет идет с Востока, где не все еще люди испорчены Западом, где еще свято, в неизменном состоянии хранятся великие начала добра и чести, посланные людям самим Небом» (цит. по: [1, с. 388]).

Кузьмин называет Унгерна предшественником евразийцев, поскольку тот считал, что Россия имеет собственную траекторию развития, сближающую ее с Востоком. Восстановление монархии должно начаться с Востока, из Монголии, а затем на «местах», пишет Кузьмин, реконструируя взгляды Унгерна. «Монголам Унгерн заявил, что ставит своей целью восстановление трех монархий: русской, монгольской и маньчжурской... Монголия рассматривалась Унгерном как плацдарм для создания Срединной империи и последующего освобождения Евразии. По словам Унгерна, он двинулся в Монголию для реализации своего плана борьбы против революционного Китая за объединение всех народов монгольского корня в одно Срединное (Среднеазиатское) ко-

¹ Кузьмин С.Л. [рец.] // Восток (Oriens). – М., 2016. – № 1. – С. 195. – Рец. на книгу: *Sunderland W. The Baron's cloak. A history of the Russian empire in war and revolution.* – Ithaca; London: Cornell univ. press, 2014. – 344 p.

чевое государство от Амура до Каспийского моря, под главенством маньчжурского хана. Судьбу Монголии Унгерн мыслил только в подчинении маньчжурскому хану, о ее независимости говорил в том смысле, “что это просто только лозунг”... Унгерн стремился к восстановлению державы Чингис-хана, куда Китай входил лишь как составная часть» [1, с. 390].

Вернемся к книге Сандерленда. В главе «Кяхта» охвачен период с конца мая 1921 г. до ареста Унгерна в августе этого же года. Автор кратко очерчивает историю этой местности, подробно анализирует моменты похода на Сибирь. Поражение под Кяхтой стало началом конца для барона и его войска, утверждает Сандерленд.

В заключительной главе «Красная Сибирь» несомненный интерес представляют взгляды автора на причины казни барона и его сравнения идеологии Унгерна и большевиков.

После захвата Унгерна допрашивали шесть раз – в Кяхте, Иркутске и Новониколаевске. Главным обвинителем был большевик, профессиональный революционер Е.М. Ярославский. Основываясь на материалах допросов, Сандерленд отмечает одну странную черту – Унгерн откровенно говорил о своих планах и действиях, лишь иногда возражая против некоторых деталей. Поэтому стенограммы некоторых допросов больше похожи на интервью. Он словно воочию видел то, что он описывал, как само собой разумеющееся: суровый характер войны; он делился своими мыслями о Боге, о монголах, евреях, политике. Его мысли об убийствах и насилии носят странно отстраненный, почти мистический характер [3, с. 215].

Сандерленд следующим образом объясняет подоплеку обвинений: «Основным обвинительным актом Ярославского было то, что преступление Унгерна, по сути своей было преступлением его происхождения (носило классовый характер. – Ю. Д.). Он не был психически больным, а был типичным представителем своего класса, делая вещи, которые такие, как он, не могли не делать. Если бы Унгерн мог повлиять на будущее, он бы навязал “военную диктатуру”, восстановление династии Романовых, отобрал бы земли у крестьян, запретил бы участие представителей “народа” в правительстве. Трибунал должен был приговорить его к смертной казни, потому что иного выхода нет. Дворянство “изжило себя”. Унгерна надо казнить, чтобы “все бароны знали, что их ждет такой же конец”» [3, с. 220].

Интересны размышления автора о разнице между идеологией большевиков и Унгерна как представителя своего класса и о

причинах такого расхождения. Идеологические различия между большевиками и дворянством были глубокими, пишет историк. Большевики одержали победу над Унгерном отчасти из-за привлекательности их идеологии, и отчасти из-за того, как они ее использовали. «Но различия между ними не были черно-белым контрастом красной и белой пропаганды, а скорее различием, происходящим из “родственной ревности”. Ирония этой Красной – Белой, так же как и других гражданских войн, в том, что совершенно противоположные протагонисты были порождением одного истока, в данном случае Российской империи» [3, с. 221]. Большевики, как и Унгерн, тоже были «людьми империи». Среда революционеров мультиэтнична, мобильна, кросс-культурна. Космополитизм и нравы Унгерна были сформированы в элитных высших военных заведениях, а космополитизм большевиков и их нравы формировали революционное подполье и возникшие Советы. Так же, как он, большевики были озлоблены, на них повлияли волны насилия Первой мировой войны, революции и Гражданской войны. Но самое главное, – на них повлиял распад империи. И если большевики нашли выход из этой ситуации, то Унгерн – нет, заключает Сандерленд.

Но в то же время, продолжает историк, между ними лежало непреодолимое и непримиримое разногласие, в сердцевине которого – монархизм барона: «Для Унгерна монархия была стержнем всего. Верность императору создавала пирамиду верности, которая, в свою очередь, гарантировала единство империи. Таким образом, все, что нужно сделать, – это восстановить монархию, и за этим последует единство. Империя есть источник мира и стабильности, чем их больше, тем лучше. Большевики же, наоборот, видели старую империю как гротеск и лицемерие, основанное на русификации и колониальном угнетении. Основная цель революции – разрушить старую систему и заменить ее новой» [3, с. 223].

15 сентября 1921 г. в Новониколаевске перед расстрелом барон Роман Федорович фон Унгерн-Штернберг снял свой дээл – «плащ империи».

* * *

Совершенно иной ракурс империи и жизни имперского человека представлен в работе американского историка Ильи Винковецкого, который анализирует разные аспекты управления и жизни

на Аляске, когда она была российской территорией [4]. Книга состоит из двух частей: «Строительство колониальной системы», «Русификация колониального населения». Во второй части, в главе «Строительство колониальной епархии», рассказывается, как при помощи мягкой силы – просветительства и крещения в православие – империя укрепляла свою власть, русифицировала аборигенное население и распространяла знание, образование и культуру.

Одним из ярких представителей и подвижников на этом пути был епископ Иннокентий (1797–1879), в миру – Иоанн Евсеевич Вениаминов. Вначале посланный с миссионерской миссией, он со временем стал первым православным епископом Якутии, Приамурья, Камчатки и Северной Америки. Иннокентий провел многие годы на Аляске, активно распространяя православную веру и знание, строя школы, семинарию, храмы. Освоив местные языки, он создал алфавит для алеутского языка. Его активная подвижническая деятельность была высоко оценена церковными властями, митрополит Московский Филарет увидел в нем «нечто сродни апостолам» [4, с. 154].

Одним из наиболее плодотворных для епископа оказался 1840 год. К этому времени он провел на Аляске уже 14 лет, тщательно и вдумчиво изучая местное население, его обычаи, традиции, верования. Результатом этой многолетней плодотворной работы миссионера и ученого стали изданные в том же году двухтомные «Записки об островах Уналашкинского отдела», с подробным и полным этнографическим описанием, а также с размышлениями о перспективах распространения православия, о той пользе, которую принесет христианизация не только местному населению, но и русской администрации. Важнейшим условием пребывания русских на территории колонии он считал распространение православной веры и русской культуры, пишет И. Винковецкий.

В этом же году Вениаминов посетил Санкт-Петербург и Москву, он встречался и с представителями Синода, и с императором Николаем I, а также с руководством Российско-Американской компании (РАК), с московским митрополитом Филаретом. Вениаминов, рассказывая о своем многолетнем миссионерском опыте, «изменил восприятие российскими религиозными и светскими властями местного населения Аляски» [4, с. 154]. Его слова были услышаны, а опыт признан полезным, потому что в ноябре 1840 г. он был пострижен в монашество под именем Иннокентий, а уже 15 декабря того же года был рукоположен в сан епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. Территория его епархии была

огромна: часть Якутии, Охотское побережье, Камчатка, Чукотка, Аляска, Курильские, Командорские и Алеутские острова.

В те годы распространение православия, пишет Винковецкий, было тесно сопряжено с русификацией. В период российского колониального правления сверхзадачей, если можно так выразиться, христианизации была интеграция коренного населения в социальные структуры колонии, и, соответственно, империи. Русские официальные лица, церковные и светские, рассматривали обращение в православие как мощное символическое орудие для привлечения нерусских в русский духовный мир. Для чиновников же успешное обращение в православие местных было еще одним выражением своей преданности империи. Хотя, оговаривает Винковецкий, не все православные были лояльны к империи, и не все лояльные к империи обязательно были православными.

Какова же роль епископа Иннокентия в этом процессе? «Визит Вениаминова в Санкт-Петербург изменил институциональную основу Православной церкви в Америке и ее подход к миссионерской деятельности. Он добился того, что церковь стала активно участвовать и тесно сотрудничать с РАК и другими организациями Российской империи. Под руководством Вениаминова церковь значительно расширила свою деятельность в Русской Америке» [4, с. 157].

Замечательный успех Иннокентия как колониального миссионера и человека империи Винковецкий видит в том, что он был именно тем типом священнослужителя и именно в том месте, которое требовалось империи на момент правления Николая I. В те годы государство прямо и активно вмешивалось в деятельность церкви, например, император контролировал состав Синода, назначения епископов и архиепископов. Более того, Винковецкий считает, что правительство хотело реформировать православное духовенство по западному образцу: православные священники должны были походить на протестантских пасторов, уделять больше внимания проповедям, в которых должны проводиться не только религиозные, но и политические идеи. Они должны вдохновлять верующих усерднее служить империи. Правительство также возлагало на клириков дополнительные административные и бюрократические функции: составлять статистические данные, докладывать о деятельности раскольников, читать прихожанам вслух государственные законы. Вениаминов ревностно исполнял эти новые обязанности священнослужителей, он регулярно докла-

дывал светским чиновникам о раскольниках, или о тех, кто пропускал проповеди.

Впечатляющими были пастырские успехи Вениаминова, продолжает автор. Он неоднократно, устно и письменно, демонстрировал яркие дидактические способности. Как человек империи, он призывал туземцев к послушанию власти, как церковной, так и светской, имперской. Призыв к восторженному послушанию власти был постоянной темой проповедей миссионера, а затем епископа. Еще в 1825 г. Вениаминов писал о своей проповеди алеутам: «Во время литургии я произнес проповедь, в которой описал жизнь Иисуса Христа от его рождения до крещения. Главный моральный урок в том, что мы, подражая Христу, должны безропотно подчиняться любому начальству и исполнять его приказы» (цит. по: [4, с. 157]). Вениаминов постоянно утверждал эти принципы, что делало его образцовым примером «человека империи» и идеальным партнером для РАК, пишет Винковецкий.

Красноречивый миссионер, прибывший из-за океана, воплощал ценности, которые правительство Николая I хотело продвинуть среди духовенства. Его активная деятельность произвела впечатление на светские и церковные власти. Священнослужитель был готов и хотел строить новые отношения между церковью и государством, между церковью и РАК. Пример Аляски подкреплял надежды имперской власти на дальнейшее распространение этих новых отношений по всей территории страны. Для этого и была организована новая епархия. Недавно овдовевший Иннокентий идеально подходил на роль первого епископа хорошо знакомой ему паствы.

Создание нового прихода и назначение деятельного и энергичного епископа принесло свои плоды. Именно при Вениаминове укрепились отношения между церковной властью и руководством РАК, к тому же более эффективными стали управленческие и другие отношения между колонией и метрополией. Учреждение новой Николо-Архангельской епархии повлекло за собой новые средства, создание консистории, строительство новых церквей, увеличение числа духовенства. И, возможно, самое главное, – внимание самого Санкт-Петербурга! Учитывая менталитет того времени и расстояния между городами, это было важным фактором.

Не менее важно было назначение самого епископа: теперь ветви власти на Аляске как бы уравнивались. Главы местной светской и церковной властей сообща работали над достижением общих целей, строя школы, в которых обучали не только Закону

Божьему, но и повиновению властям, русскому языку, знакомили с русской культурой и давали практические навыки, необходимые будущим сотрудникам РАК. Таким образом возвращались новые поколения местных жителей – людей империи.

Однако не следует полагать, что епископ Иннокентий руководствовался сугубо прагматическими или политическими целями. Он очень лояльно, по-отечески относился к местному населению и считал, что особенности характера и менталитета способствуют усвоению православия и шире – русификации.

Сам Вениаминов был сторонником просвещенного европейского христианства, подчеркивается Винковецким. И в соответствии со своими взглядами, вполне характерными для того времени, он рассматривал свою миссию как прогрессистскую, просветительскую. «Они вышли из тьмы к свету» – так писал епископ о группе недавно обращенных алеутов [4, с. 171].

Метафора семьи издавна используется для создания чувства единства, объединения разрозненных народов и этносов. Применялась она и в Российской империи – «царь-батюшка» – глава империи, глава метафорической семьи. Между крещеными эскимосами и индейцами и их русскими крестными родителями строились отношения отец – сын. Создание подобных родственных, семейных связей между подданными империи связывало их в единое государство. Губернатор Аляски и епископ с энтузиазмом приняли на себя отеческие роли по отношению к местному населению.

Следует при этом отметить, что родственные отношения между крестным и крестником подразумевали определенные обязательства и выгоды. Крещеные туземцы более послушны и лояльны компании – это принималось во внимание. Да и сами аборигены вполне практично подходили к выбору крестных родителей, зачастую руководствуясь их положением или соображениями престижа. Были и другие выгоды. Русские брали на себя обязательства заботиться о потребностях своих «детей», а те, в свою очередь, получали не только новое русское имя, но и материальные приобретения, например, подарки на праздники и т.п. У местных русских быть крестным родителем туземца означало повысить социальный престиж. «Связь между русскими крестными “отцами” и крещеными туземными “детьми” стимулировала социальную сплоченность и движение местных жителей к обрусению» [4, с. 138]. Таким образом, в итоге крещение служило имперским целям.

Надо отдать должное мудрости епископа Иннокентия, который считал необходимым вести туземцев по пути прогресса, т.е.

крещения и русификации, постепенно, шаг за шагом. Для него переход от дикости к цивилизации был постепенным процессом, который требовал внимательного руководства со стороны тех, кто достиг более высокой ступени развития. В данном случае речь идет о морских офицерах, губернаторах, духовенстве и сотрудниках РАК. Себя Иннокентий рассматривал как «учителя детей и младенцев в вере». «Он усиленно работал над тем, чтобы изобразить роль Церкви и свою собственную в героических терминах, и использовал свой взгляд на туземцев для продвижения этого образа и укрепления Церкви в колонии» [4, с. 172].

Епископ Иннокентий внес весомый вклад в христианизацию Русской Америки, в русификацию аборигенов и креолов. О его успехах говорит и тот факт, что до сих пор некоторые группы индейцев и эскимосов Аляски исповедуют православие и считают его своей, аборигенной верой, подчеркивает автор [4, с. 156].

Рассмотренные в обзоре книги показывают разные формы изучения истории империи через биографии. В число проследивает жизненный путь и внутреннее развитие человека, стоящего на вершине власти; Сандерленд – попытку создания империи на руинах прежней военным способом; Винковецкий рисует принципиально иную картину – подвижнический путь знания и просветительства от центра к самым дальним окраинам.

Список литературы

1. Кузьмин С.Л. История барона Унгерна: Опыт реконструкции. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. – 659 с.
2. Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. – М.: НЛЮ, 2006. – 241 с.
3. Sunderland W. The Baron's cloak. A history of the Russian Empire in war and revolution. – Ithaca; London: Cornell univ. press, 2014. – 344 p.
4. Vinkovetsky I. Russian America: An overseas colony of a continental empire, 1804–1867. – Oxford, NY: Oxford univ. press, 2011. – 259 p.
5. Wcislo F. Tales of imperial Russia. The life and times of Sergei Witte, 1849–1915. – N.Y.: Oxford univ.press, 2011. – 314 p.

Большакова О.В.

**КОНЕЦ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
(Обзор)**

Распад Советского Союза на 15 независимых национальных государств был воспринят специалистами как «падение империи», что тогда считалось закономерным и исторически неизбежным. В соответствии с господствовавшими в то время представлениями, основанными на идее о стадийности исторического процесса, многонациональные империи являли собой «архаичную» форму государства и должны были смениться «современным» национальным государством. Суть исторической эволюции, как она трактовалась либеральной идеологией с ее идеей прогресса, состояла в движении к демократии западного типа, и национальное государство являлось одним из ее атрибутов. Однако с тех пор многое изменилось, и к началу нового тысячелетия эти представления, составлявшие основу либеральной идеологии, были существенно проблематизированы – как и сама эта идеология, которую стали определять как исторически преходящий «западный проект», принадлежащий эпохе Нового времени. Произошедшее в мировой историографии расширение горизонтов (географических, хронологических, культурных, дисциплинарных) способствовало развитию таких дисциплин, как глобальная история, и возникновению новых направлений, в том числе исследований империй (imperial studies).

Активно развивавшиеся с 1990-х годов, эти исследования были сразу востребованы зарубежной русистикой, а вскоре и в нашей стране, поскольку распад СССР сделал крайне актуальным

взгляд на Россию как многонациональную империю. В условиях повышенного интереса к национальным проблемам и национальным движениям начинается серьезное теоретическое изучение империй и национальных государств (nations), которые воспринимались как антитезы. Предполагалось, что по мере созревания национального самосознания, с формированием отчетливых национальных идентичностей на периферии империя рухнет – как это произошло с СССР и ранее – с Российской империей в 1917 г.

Столь «удобное» и простое объяснение распада СССР и, соответственно, Российской империи, не казалось вполне удовлетворительным, и конкретно-исторические исследования по мере накопления материала все убедительнее опровергали эту схему. Как отмечается в обобщающей работе В. Кивелсон и Р. Суни, отход от идеальных типов и обращение к историческому опыту дают интересные результаты. Характерные для империи практики «дифференциации» обнаруживаются в национальных государствах, а практики нациестроительства – в империях. По их мнению, дихотомия «нация / империя» довольно хорошо работает, когда речь идет о более или менее гомогенных европейских государствах или же о морских империях с заокеанскими колониями; в случае России и других континентальных империй она куда менее очевидна [4, p. 12].

Следует заметить, что как таковая проблема коллапса Российской империи долгое время находилась на обочине исторических исследований. Зарубежные историки, отойдя от парадигм эпохи холодной войны, и прежде всего от «парадигмы 1917 г.», сосредоточились на поиске факторов стабильности, обеспечивавших столь долгое существование и процветание Российской империи. Однако по мере приближения столетия Первой мировой войны все больше внимания стали обращать на факторы разрушения, поскольку одним из итогов войны явился распад четырех континентальных империй – Российской, Османской, Германской и империи Габсбургов.

Столетие Первой мировой войны, широко отмечавшееся во всем мире и в нашей стране, заставило специалистов по-иному взглянуть на Русскую революцию, которая в нынешнем контексте стала восприниматься как один из итогов Великой войны. Более того, революция 1917 г. в России оказалась лишь звеном в цепи событий, которые составили то, что в современной историографии называют «мировым кризисом начала XX в.». Сначала локальные войны и революции (в России это Русско-японская война и рево-

люция 1905 г.), затем глобальный военный конфликт, в ходе которого также происходят революции, уже большего масштаба, гражданские войны, распад четырех империй и образование на их обломках новых государств. Все это сопровождалось глубокими социальными и культурными трансформациями и привело к кардинальным изменениям всего мироустройства. Строго говоря, такой взгляд уже не нов, в зарубежной историографии он начал обретать влияние в 2000-е годы, однако юбилей Первой мировой войны существенно закрепил эти представления, введя их в публичный дискурс. И хотя в результате такого «освоения» обыденным сознанием они неизбежно становятся общим местом, для историков-русистов рассмотрение революции 1917 г. в широких рамках общемирового кризиса насыщено проблемами.

Распад Российской империи, тесно связавшийся в современном сознании с Первой мировой войной и революционными потрясениями, – центральная тема настоящего обзора, анализирующего современную зарубежную историографию. Характерными ее чертами являются международный состав исследователей, публикующихся при этом на английском языке, а также широкий географический и хронологический охват, что обусловлено как самой темой, так и общей для сегодняшней историографии тенденцией к стиранию границ и глобальному взгляду на вещи. «Имперская парадигма» лежит в основе большинства современных исследований падения царского режима, предлагая новый угол зрения на проблему и ставя во главу угла вопросы о соотношении национального и имперского, о роли и взаимоотношениях центра и периферии, о геополитике и империалистическом соперничестве, о колониализме и «праве наций на самоопределение».

* * *

Ярким примером имперских исследований является фундаментальная монография одного из крупнейших американских историков-русистов Альфреда Рибера, заслуженного профессора Центрально-Европейского университета в Будапеште [10] (реферат на эту книгу помещен в настоящем сборнике). В сравнительном ключе Рибер рассмотрел историю пяти империй (Габсбургов, Российской, Османской, Сефевидской и Цинской) с момента образования до почти одновременного их распада в 1911–1923 гг. Отправной точкой исследования явилось утверждение, что почти все

военные конфликты Нового времени разворачивались на периферии этих континентальных империй, где после гражданских войн и интервенций 1918–1920 гг. образовались новые государства. Основываясь на новейших достижениях мировой историографии, автор представил историю Евразии как «борьбу за окраины», которая протекала на двух уровнях: «сверху, в ходе государственного строительства, и снизу – в виде реакции поработенных народов», добивавшихся сохранения своей культуры и автономии «посредством сопротивления либо приспособления к имперскому правлению» [10, р. 1]. Отвергая традиционные геополитический и цивилизационный подходы (как детерминистские и политически нагруженные), А. Рибер использовал более гибкий геокультурный подход к изучению имперских окраин и фронтиров Евразии, который ведет свое происхождение от ранних теоретиков школы Анналов и позволяет учесть культурное разнообразие империй. Особое внимание в книге уделяется Российской империи, которая с конца XVIII в. заняла доминирующее положение среди континентальных империй Евразии. Их распад, по заключению Рибера, положил начало новому периоду кризисов и международных конфликтов, характеризующемуся высоким уровнем насилия и дестабилизацией, а его последствия ощущаются государствами-преемниками по сей день.

Обобщающий труд Рибера окончательно закрепил в историографии взгляд на окраины континентальных империй как «оспариваемое геополитическое пространство», где национальные границы представляли собой нечто размытое, проницаемое и подвижное, и ориентировал исследователей на выявление множественных и сложных взаимосвязей, как межгосударственных, так и межкультурных, и межэтнических.

Значение «имперской парадигмы» для изучения Первой мировой войны было хорошо обосновано американским исследователем Рональдом Суни в предисловии к сборнику «Империя и национализм на войне», изданном в рамках крупного международного проекта «Великая война и революция в России, 1914–1922» [12]. Актуальность такого подхода, пишет он, определяется тем фактом, что после Первой мировой войны произошло падение континентальных империй в Европе, а Вторая мировая война оказала тот же эффект на морские колониальные империи. Автор отмечает, что распад империй под натиском освободительных движений и образование новых национальных государств было принято описывать как «естественный» процесс, в ходе которого «архаичные» империи

уступили место «современным» нациям. Считалось, что две эти государственные формы несовместимы [12, р. 1–2]. Однако современные исследования демонстрируют куда более сложные их взаимоотношения и даже позволяют в некоторых случаях предположить, что «национальное освобождение заканчивалось образованием мини-империй, замаскированных под национальное государство», как это произошло, например, с Польшей [12, р. 4].

Возвращаясь к ленинским определениям Первой мировой войны как империалистической, захватнической, хищнической, как борьбы за передел мира и капитала, Суни замечает, что Ленин был, пожалуй, «не так уж неправ». Пусть современные авторы и используют другую терминологию, однако и они признают, что центральное место в Великой войне занимал кровавый конфликт империй и наций, который привел к слому вековых монархий и рождению на их обломках новых государств. Этот феномен по-прежнему не поддается простым объяснениям, и путь к пониманию лежит в признании значимости империй [12, р. 7].

А. Рибер иначе интерпретирует итоги Первой мировой войны, называя возникшие после нее новые государства «миниатюрными версиями своих имперских предшественников» (10, р. 533) и указывая на их отличия от империй. Действительно, риторика строителей новых государств в Прибалтике, в Восточной и Центральной Европе являлась по сути своей «национальной», а не «имперской». Однако для удовлетворительного решения этой проблемы следовало бы более точно определиться с характеристиками двух типов правления. В книге Кивельсон и Суни явно просматривается тенденция рассматривать имперское как насильственное, имплицитно противопоставляя его «либеральному» национальному. В то же время авторы ставят вопрос о сходстве практик ассимиляции этнических меньшинств в империи и национальном государстве [4, р. 12].

Специальное рассмотрение проблема соотношения национального и имперского государственного строительства в Европе и Евразии в течение «длинного XIX в.» получила в сборнике статей, подготовленных в ходе работы нескольких конференций в Будапеште и Манчестере. Как указывают во введении составители сборника Стефан Бергер и Алексей Миллер, противопоставление империи и национального государства как «глубоко различных типов политической организации общества и пространства» возникло в конце XIX в. и до недавнего времени доминировало в историографии. Считалось, что национальное государство представ-

ляет собой следующую, постимперскую, стадию «нормального» исторического развития; эта идея лежит в основе авторитетных трудов Э. Геллнера. Целью издания, пишут авторы, является пересмотр такого дихотомического подхода на основании теоретических и конкретно-исторических исследований, сосредоточенных на изучении национального строительства в центральной части империй (имперском ядре – *imperial core*) [1, р. 2–3].

Во введении подчеркивается, что XIX в. являлся не только «эпохой национализма», но и «эпохой империй», причем проекты нациестроительства в метрополии были направлены на сохранение и дальнейшее расширение той или иной империи, а не на трансформацию ее в национальное государство [1, р. 3]. В центре внимания авторов – тесное переплетение «нации» и «империи» в крупных европейских государствах, что позволяет им использовать термин «имперская нация» применительно к национальной политике во всех ее многочисленных проявлениях.

С. Бергер и А. Миллер выделяют несколько основных сфер, в которых имперское неразрывно связано с национальным. Во-первых, это различные аспекты «управления пространством», которое включает в себя так называемую «воображаемую географию», миграции, развитие систем коммуникаций и городов (прежде всего столичных, исполняющих функцию национальной и имперской столицы одновременно). Во-вторых – культурная и лингвистическая консолидация на элитарном и низовом уровнях; большую роль здесь играют представления о «Другом» и идеи о цивилизаторской миссии. Третья сфера касается экономики (развития экономических связей между разными регионами империи), четвертая – политики, в том числе механизмов политического вовлечения населения, направленных на создание чувства причастности (речь идет в первую очередь о концепции гражданства и социальных правах). Чрезвычайно важны внешняя политика в целом и соперничество между империями в частности, пишут авторы [1, р. 5–6]. Особое внимание во введении уделяется истории возникновения и сосуществования терминов «нация» и «империя» в Великобритании, Германии и России, что дает возможность подчеркнуть взаимопереплетение имперского и национального.

Материалы сборника позволяют С. Бергеру и А. Миллеру сделать ряд заключений. Во-первых, нации возникают внутри империй в ситуации межимперского соперничества; во-вторых, нациестроительство следует анализировать в имперском контексте, что справедливо как для сепаратистских национальных движений

на периферии, так и для националистических проектов в метрополии. Наконец, именно нацистроительство в метрополии являлось на деле одним из основных инструментов усиления конкурентоспособности империй [1, р. 30].

Нельзя сказать, что эти заключения безоговорочно принимаются историками. В комментариях специалистов по сравнительной истории империй, помещенных в том же сборнике, оспариваются многие из этих постулатов. В частности, Доминик Ливен, британский историк, один из первых зарубежных русистов начавший активно использовать имперскую парадигму, основывается в своих рассуждениях на противопоставлении империи и нации, несовместимых, по его мнению, во многих случаях [5]. В своей недавней книге он подробно рассмотрел путь России к революции, сосредоточив свое внимание на «мире империй», однако в своем понимании исторических процессов он не вышел за рамки теории модернизации и представлений о мироустройстве, бытовавших в годы холодной войны [6]. Он пишет, что в XIX – начале XX в. европейские государства и народы условно можно отнести к «первому миру» развитых стран и «второму», который составлял европейскую периферию, простиравшуюся от Ирландии до России. Причем «второй мир» не имел четких национальных границ, его главными характеристиками являлись экономическая и политическая отсталость и «запаздывание» модернизационных процессов. Для великих держав европейская периферия служила ареной соперничества и точкой приложения имперских цивилизаторских устремлений. Ливен подчеркивает колониальный характер притязаний на нее стран «первого мира», ответом на которые стал рост национализма – его Ливен считает «главной угрозой» империям, вызовом стабильности и всему миропорядку, что в 1914 г. и привело к глобальному конфликту. Характерно, что Россию он относит одновременно к категории великих держав, многонациональных империй и «второму миру».

Ливен рассматривает Россию и ее внешнюю политику в общемировом контексте, подчеркивая сходства и в устремлениях великих держав, и в идеологических течениях, и в экономических и социальных проблемах, стоявших перед воюющими странами. Однако обширность территории, неразвитость транспортной сети, неоднородность империи Романовых значительно усугубили тяготы войны, которые и привели в итоге к революции. И все же главная причина падения империи – архаичность форм политического и социального устройства, характерных для стран «второго мира», а

в итоге – для империй, которые в эпоху национализма были обречены.

Это мнение, долгое время господствовавшее в историографии, оспаривается в монографии американского историка, специалиста по Османской империи, Майкла Рейнольдса [9]. Он опровергает аргументы о «неодолимой силе» национализма и отказывается от национально-исторической перспективы, анализируя события в Османской империи и граничивших с ней регионах Российской империи как результат геополитической конкуренции в условиях кардинальной трансформации глобального миропорядка. В центре его внимания – история соперничества Российской и Османской империй в начале XX в., начиная с Младотурецкой революции 23 июля 1908 г., когда султан вынужден был отказаться от абсолютной власти, и заканчивая периодом Первой мировой войны. По мнению автора, процесс распада этих империй был и причиной, и – в то же время – следствием войны. Таким образом, именно межгосударственное соперничество, а не этнонациональные движения представляются Рейнольдсу ключом к пониманию тех событий, которые происходили в пограничных регионах этих империй в начале XX столетия. В то же время Рейнольдс стремится рассмотреть и то, каким образом динамика глобального межгосударственного соперничества влияла на региональные повестки дня, в частности содействуя формированию новых политических идентичностей.

Рассматривая взаимодействия России и Османской империи до июльского кризиса 1914 г., автор определяет «структурные и системные детерминанты, которые формировали российско-турецкие отношения на межгосударственном уровне, или на уровне “высокой политики”» [9, р. 19]. В то же время он анализирует и уровень региональной, «низовой» политики («low politics»). При этом указывает на одно важное обстоятельство, которое, по его мнению, делало империи особенно уязвимыми. Он пишет, что в отличие от государств-наций, где достаточно однородное по своему этническому составу население управляется выстроенными в рамках единой схемы государственными структурами, империи имеют в своем составе территории не только с преобладанием тех или иных этнических групп, но зачастую и со специфическими структурами управления, которые не всегда действуют согласованно с имперскими властями, а порой даже в чем-то конкурируют с ними. Кроме того, российско-турецкая граница в начале XX в. разделила некоторые народы между двумя государствами, что в итоге стало точкой приложения для политики соперничества, ко-

гда каждая из сторон стремилась дестабилизировать пограничные области соседнего государства, рассчитывая таким образом реализовать свои геополитические интересы.

Одним из инструментов этой политики являлось продвижение национальной идеи. Рейнольдс фиксирует использование «националистического инструмента» и российскими чиновниками, делавшими в Восточной Анатолии ставку на местных курдов, и Турцией, которая в годы Первой мировой войны стремилась оказывать влияние на российских мусульман, а также пыталась наладить отношения с националистическими украинскими и грузинскими организациями и понтийскими греками. Собственно, этими инструментами пользовались все государства для реализации своих геополитических интересов. Рейнольдс отмечает, что Британия еще с 1916 г. поддерживала выступления бедуинских племен против имперских властей, провозглашенные англичанами «Великой арабской революцией». Англичане стимулировали этническую дифференциацию арабов и их национальные чувства, с тем чтобы обеспечить в итоге отделение арабских территорий от Османской империи.

Рейнольдс весьма прагматически трактует политику Османской империи, как внутреннюю, так и внешнюю, считая, что она была направлена исключительно на обеспечение безопасности, а идеологическая мотивация здесь отсутствовала. По его мнению, вступление в Первую мировую войну вовсе не было обусловлено панисламистскими или пантюркистскими амбициями. Точно так же и массовое истребление армян, находившихся под турецкой властью, и начавшаяся тюркизация Анатолии в годы войны представляются ему не проявлениями агрессивного национализма, а спланированной акцией, призванной обеспечить реализацию государственных интересов Османской империи. Турецкую экспансию в Азербайджан и Дагестан в 1918 г. автор опять-таки рассматривает не в категориях этнорелигиозной солидарности, а как последовательную реализацию геополитических императивов, в данном случае – стремление обеспечить существование независимых азербайджанского и северокавказского государств как «страховки» от будущего возрождения России. Политика Османской империи в отношении революционной России в 1917–1918 гг. также представляла собой прагматичное стремление воспользоваться изменениями в региональном балансе сил. Соответственно, Грузия, Армения и Азербайджан как независимые государства возникли не столько в результате развития национального самосознания наро-

дов Кавказа, сколько вследствие конкуренции крупных держав в условиях становления новой системы регулирования международных отношений.

Неудивительно, что распад Османской империи Рейнольдс трактует исключительно в политическом ключе. Он пишет, что Мудросское перемирие перечеркнуло все достижения Турции в Первой мировой войне, лидеры младотурок вынуждены были с позором бежать из Стамбула; все члены правившего в годы войны «триумvirата» – Энвер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша были убиты. Это и стало началом крушения Османской империи, в котором национализм сыграл, в интерпретации Рейнольдса, лишь вспомогательную роль.

В современных зарубежных исследованиях Первой мировой войны и революции в России ведется активный поиск новых аналитических инструментов, которые позволили бы лучше понять сложный процесс, разворачивавшийся на обширной территории нескольких империй в первой четверти XX в. Так, американский историк Марк фон Хаген предложил вполне конкретную теоретическую рамку для изучения событий на Восточном фронте: это концепция «переплетенных историй» (*entangled histories, histoire croisée*), получившая распространение в 2010-х годах и уделяющая основное внимание связям, заимствованиям и взаимодействиям. По его мнению, она обладает большим потенциалом при рассмотрении как хода Первой мировой войны, так и ее итогов. Он пишет, что именно интенсивность связей, существовавших в мирное время между Германией, монархией Габсбургов, Россией, Османской империей и Сербией, обусловила ту форму, в которой разворачивалась война, значительно усилив ее разрушительный характер. По его словам, «мирады переплетений» в итоге привели к тому, что конфликт на Восточном фронте продлился до 1922–1923 гг., а послевоенная реконфигурация этого региона оказалась столь радикальной [3, р. 10–11].

Подчеркивая сложность этноконфессионального и демографического состава рассматриваемых государств, автор указывает на тот факт, что на протяжении долгого времени их политические цели заключались в перекраивании границ за счет соседей-соперников. Однако при всей напряженности отношений между ними существовали и тесные связи, причем зачастую на личном уровне – особенно в военной и дипломатической сферах, не говоря уже о династическом родстве. «Переплетения» в экономике были также исключительно сильны и касались не только внешней тор-

говли, иностранных концессий и инвестиций капитала, но и рынка труда. Не менее сильными были культурные, религиозные и идеологические «переплетения». В годы войны рвутся старые и возникают новые «переплетения», такие как насильственные миграции и оккупация территорий противника.

Статья фон Хагена показательна в том отношении, что в ней затронуты основные темы и сюжеты, присутствующие в современных зарубежных исследованиях Первой мировой войны и революции 1917 г. Это беженцы и военнопленные, политика оккупационных режимов (прежде всего национальная), насилие (военное, этническое, революционное и контрреволюционное и пр.).

Автор сравнивает политику оккупационных режимов Германии, Австрии и Российской империи, которые, как он подчеркивает, стремились реализовать на оккупированных землях то, что было невозможно сделать внутри страны. При этом все они разыгрывали националистическую карту, пытаясь привлечь на свою сторону этноконфессиональные меньшинства и обещая им те или иные привилегии. Формы управления оккупированными территориями изменялись по мере того, как менялся общий контекст. В 1915–1916 гг. ситуация стала иной после серии депортаций, арестов, казней, массового бегства с территорий Польши, Галиции и Украины евреев, поляков и украинцев, представителей местных элит, церковных иерархов [3, р. 33]. Затем последовали революция в Петрограде, Брестский мир – они также коренным образом меняли контекст, в котором действовали германский и австрийский оккупационные режимы в этом регионе.

Политика Германии на оккупированных территориях Польши, Литвы, Курляндии и Западной Белоруссии (получивших название *Ober Ost*), так же как и Австрии в Сербии, имели свои особенности. Но во всех случаях, пишет автор, оккупанты оказались в сильнейшей степени вовлечены в сложные и конфликтные отношения с местными национально-освободительными движениями, а их политика имела «волновой эффект», распространяясь и на другие территории. Так, практики надзора, цензуры, поиска «политически неблагонадежных» (шпиономания) из военных зон распространялись и на территории самих воюющих держав [3, р. 34].

С точки зрения «переплетений», возникших в период Первой мировой войны, автор рассматривает проблему военнопленных, которые составляли значительную группу в количественном отношении. На Восточном фронте их было 6 млн человек (на Западном – 2,5 млн.), подавляющее большинство служили в русской и

австро-венгерской армиях [3, р. 36]. Труд военнопленных сразу же стал активно использоваться в сельском хозяйстве и промышленности, главным образом на строительстве дорог и добыче полезных ископаемых. Результатом стало основательное их знакомство с местными условиями и культурой, пишет автор, интеграция в местную жизнь вплоть до создания семей. Судьба десятков тысяч смешанных браков, которые не приветствовались ни в Австро-Венгрии, ни тем более в Германии, стала предметом переговоров между разными странами, затянувшихся на долгие годы [3, р. 39].

Рассматривается в статье и «имперский антиколониализм», который особенно активно практиковался Германией и заключался в разжигании национализма среди «угнетенных народов» Российской империи. Одним из его проявлений стало создание «национальных» лагерей для военнопленных, где проводились мероприятия по их «культурному развитию». В свою очередь, российский Генштаб высказал идею о создании национальных военных частей из пленных, принадлежащих к этническим меньшинствам, которые воевали бы против своих государств. Идея была реализована после 1917 г., когда Чехословацкий легион сыграл решающую роль в разжигании гражданской войны в России [3, р. 42]. Не была чужда «националистическим экспериментам» и империя Габсбургов, где был создан план объединения национальных украинских и турецких легионов для захвата Кубани и разжигания революции на Украине, который, однако, так и не был реализован [там же].

М. фон Хаген уделяет внимание не столько распаду империй, сколько его результату. Он перечисляет основные вехи установления мира и проведения границ на территории бывшего Восточного фронта, где военные действия не утихли окончательно и после заключения Лозаннского мирного договора в 1923 г. Он указывает на значимость «переплетений» военного времени, в частности, «наследия» в виде военнопленных и беженцев, проблемой репатриации которых занимались все участники войны. Поскольку перед возникавшими в ходе войны новыми государственными образованиями стояла проблема создания собственных армий, началась острая конкуренция за военнопленных, находившихся на их территории. Так, автор упоминает о столкновении по этому вопросу между представителями гетмана Скоропадского и Белой армии. В свою очередь большевики рекрутировали десятки тысяч пленных, включая венгров, для борьбы с силами «международной и внутренней контрреволюции» [3, р. 46].

По мнению автора, именно беженцы и военнопленные в значительной степени способствовали радикализации ситуации, однако революция 1917 г. и антивоенная политика Советской России также внесли большой вклад в ее обострение. Кратковременная победа революционных левых сил в Венгрии, Баварии, на Западной Украине, а также в Риге, Таллинне, Хельсинки и др. привела к мобилизации крайне правых националистов. Результатом этих гражданских войн, сильно различавшихся по своему масштабу, стала трансформация общества, экономики и политики – куда более значительная, чем в государствах, воевавших на Западном фронте. Еще одна особенность, отличавшая Восточный фронт, пишет М. фон Хаген, заключалась в том авторитете, который приобрели там военные. В итоге после окончания войны к власти в Германии, Польше, Венгрии и других странах пришли участники и герои войны [3, р. 46–47].

В статье демонстрируется сложность взаимоотношений «национального» и «имперского», и национализм выступает лишь одним из «переплетений» военного времени.

Непосредственно проблеме национализма посвящена помещенная в этом же сборнике статья американского историка Эрика Лора, предложившего новый термин «военный национализм» (по аналогии с «военным коммунизмом»), который подразумевает альтернативный подход [6]. Он пишет, что ведущие теоретики Э. Геллнер, Б. Андерсон и др. сосредоточивали внимание на социальных, интеллектуальных и культурных предпосылках созревания национализма в процессе модернизации. По мнению Лора, гораздо лучше объясняют особенности национализма менее знаменитые теории, которые считают его чем-то внешним, «приписываемым» людям в те или иные исторические периоды, чаще всего в экстремальные моменты распада государства или войны, имеющие мобилизующий эффект. «Национальность» в таких случаях кристаллизуется внезапно, становится формой мировоззрения и основой для индивидуальных и коллективных действий. Термин «военный национализм» побуждает мыслить именно в этом направлении, особенно когда речь идет о Первой мировой войне, «мобилизовавшей экономику, армию, этнические сообщества и политические движения в Российской империи самым беспрецедентным образом» [7, р. 93].

Автор обращает внимание на два ключевых аспекта военного национализма – пространственный (он разворачивался на западных окраинах империи) и институциональный (армия стала

главным вершителем судеб населения в этих областях). На смену опытным администраторам пришли военные, ничего не знающие о местных условиях, но главное, имеющие своей задачей не управление, а победу в войне [7, p. 94].

Обобщая имеющиеся исследования оккупационной политики России и проблемы беженства, Э. Лор приходит к выводу, что национальность с первых же дней стала главным критерием классификации населения. Однако если для беженцев национальность была категорией культурной и этнической, основой для их объединения в сообщества и землячества, то для миллионов других это был вопрос формального гражданства. С началом войны Российская империя (как и другие воюющие державы) предприняла шаги по интернированию вражеских подданных. Довольно быстро эта по существу военная акция превратилась в массовую кампанию «искоренения» иностранцев. Получив неограниченное право на депортацию, проведение реквизиций и секвестров, военные реализовывали его исключительно активно в прифронтовых зонах и в столицах. Под давлением командования, а также патриотической прессы гражданские власти занялись ликвидацией иностранного участия в экономике, в результате чего были закрыты тысячи мелких предприятий и целый ряд крупных корпораций [7, p. 97].

На примере борьбы с «засильем иностранцев» в предпринимательстве и сельском хозяйстве, нацеленной, как пишет автор, на передел собственности (в том числе земли) и передачу контроля в экономике этническим русским, в статье формулируются отличия национализма мирного времени от военного. Он пишет, что призывы подобного содержания звучали и раньше, однако война дала мощную мотивацию и инструменты в виде депортаций, экспроприаций и низового насилия, позволивших претворить националистическую пропаганду в жизнь. Националистическая мобилизация военного времени создала новый контекст для погромов, направленных на «коммерческие диаспоры» немцев, поляков, евреев.

По мнению автора, концепт «военного национализма» даже в большей степени полезен для изучения Гражданской, а не Первой мировой войны. Именно тогда польская, украинская и другие национальные армии воевали с белыми, красными и зелеными, а национализм военного времени достиг своих экстремальных значений [7, p. 106].

Алексей Миллер в статье «Роль Первой мировой войны в состязании между украинским и всероссийским национализмом» [8] указывает на безосновательность распространенного мнения, что

война устранила преграды для уже якобы достаточно сформировавшегося украинского движения. В то же время, пишет он, война (первый год которой отмечен всплеском русского национализма) имела двойственный эффект в отношении региональных национализмов. С одной стороны, усилился репрессивный компонент в политике властей, с другой – возникла атмосфера неопределенности, побуждавшая строить фантастические планы о будущем той или иной нации в послевоенной Европе.

В первые же месяцы войны оккупация Галиции продемонстрировала особое внимание империй к этничности: русские проводили политику подавления украинцев и греко-католической церкви (включая арест митрополита Шептицкого), австрийцы отправляли в концентрационные лагеря прорусски настроенных русинов. По словам автора, после отступления 1915 г. произошел серьезный сдвиг в соотношении сил всероссийского и украинского национализма. После эвакуации из Галиции более 100 тыс. тех, кто симпатизировал русским, оккупационные власти ликвидировали организации русских националистов на этой территории и стали финансировать украинское движение. Это в значительной мере подорвало престиж России в глазах неполиitized части населения, в основном крестьянства [8, p. 84].

В 1917 г., когда произошло крушение имперского центра, для противодействия развалу армии под влиянием пропаганды большевиков и в условиях массового дезертирства Верховное командование предложило политику ее «национализации». По мнению Миллера, создание национальных частей имело колоссальные последствия для Белоруссии, Украины и Бессарабии, которые в полной мере проявились после большевистского переворота. Эпоха революционного кризиса превратила армию в независимого игрока. И когда в 1918 г. мировая война в Восточной Европе трансформировалась в ряд гражданских войн, немалое место в них занимали конфликты полувоенных соединений, сражавшихся за те или иные «этнические» территории. Эфемерность возникавших на Украине государств (гетманство Скоропадского, Директория Петлюры) свидетельствовала о пределах возможностей украинского национализма, пишет автор, замечая, что Нестор Махно, пользовавшийся немалой поддержкой населения, вообще не использовал украинскую риторику. По его мнению, исторические данные свидетельствуют о том, что причины распада империи следует искать все-таки в центре, а не в антиимпериалистических движениях на периферии [8, p. 87].

Достаточно целостная концепция, связывающая воедино Первую мировую войну, распад империй и революцию в России, представлена в работе американского историка Джошуа Санборна [11]. Он доказывает, что крушение Российской, Османской и Габсбургской империй представляло собой проявление процесса деколонизации, который происходил в годы Великой войны почти во всей Восточной и Южной Европе и на Среднем Востоке. По мнению Санборна, термин «деколонизация», которым обычно обозначают освобождение колоний от власти «белого человека» после Второй мировой войны, достаточно широк, чтобы применить его к анализу реалий 1914–1922 гг. Он позволяет посмотреть на события Великой войны и революции как на многофакторный стадийный процесс, который начался задолго до убийства в Сараево, и перестать сосредоточиваться на том, что происходило в Берлине, Лондоне и Париже, в то время как кризис разворачивался на Балканах. По мнению Санборна, главный конфликт в годы Первой мировой войны заключался вовсе не в том, кто будет осуществлять империалистический контроль в мире, – под вопрос было поставлено само существование контроля такого рода.

Предложенный Санборном угол зрения дает возможность иначе рассмотреть проблему национализма в Восточной Европе. Он пишет, что фиксация историографии на национально-освободительных движениях, формировании этнического самосознания и идеологии основывалась на линейном представлении о борьбе между нацией и империей. Однако эта модель не в состоянии описать сложные процессы, ведущие к достижению национальной независимости, так же как и дать удовлетворительное объяснение обострению конфликтов сразу после ее обретения. Кроме того, добавляет он, в результате деколонизации возникали не этнонациональные, а новые многонациональные государства, о чем свидетельствуют сами их названия: Чехословакия, Королевство сербов, хорватов и словен. Однако, действительно, на протяжении всего XIX в. использовалась национальная риторика, и сам выбор терминологии имел серьезнейшие последствия для политических процессов.

Использование модели деколонизации, пишет Санборн, позволяет, с одной стороны, увидеть события Первой мировой войны в новом свете; с другой – дает возможность иначе посмотреть на национальные движения в Восточной Европе, которые традиционно считались «могильщиками» империй [11, р. 4]. Процесс деко-

лонизации в Восточной Европе состоял из множества процессов, имперских и антиимперских по своей природе.

Санборн предложил теоретическую схему, раскрывающую логику деколонизации, в которой выделил четыре фазы, перекрывающиеся между собой во времени. Первую стадию он назвал «имперский вызов» (imperial challenge) и определил как начальный период формирования процессов деколонизации, когда возникали антиимпериалистические политические движения. Вторая стадия – «несостоятельность государства» (state failure), когда способность эффективно управлять, в том числе обеспечивать функционирование общества и экономики и контролировать насилие, резко падает. Затем довольно быстро наступает фаза «социальной катастрофы» (social disaster), которая, не будучи вовремя остановлена, имеет шанс перейти в «апокалиптический штопор», что и произошло в России в период Гражданской войны. Четвертая фаза – «государственное строительство» (state-building) – находится за пределами авторского исследования [11, p. 6–7].

Кратко описывая во введении к своей монографии геополитическую историю обширного региона, ставшего в 1914 г. театром военных действий, Санборн указывает, что здесь сошлись окраины нескольких империй, где шел процесс формирования национального самосознания населявших эти территории народов. Причем к июлю 1914 г. «колониальные пространства» Российской империи, в особенности на ее западных границах, «достаточно созрели» для того, чтобы начать движение за получение независимости, и катализатором в данном случае оказались события на Балканах. Фактически, утверждает Санборн, Балканские войны 1912–1913 гг. открыли новую эпоху и вызвали к жизни конфликт, который не просто нарушил равновесие существовавшей тогда системы империалистических взаимоотношений, но полностью ее разрушил [11, p. 17]. Июльский кризис начался с теракта, который был осуществлен во имя создания Великой Сербии. Сегодня, пишет Санборн, мы назвали бы это «асимметричной войной... угнетенных против империалистической машины, которая владеет гораздо большими ресурсами» [11, p. 19].

Основываясь на обширном архивном материале и массе опубликованных источников, автор воссоздает картину событий 1914–1918 гг. В фокусе его внимания находятся не только военные, дипломатические и политические аспекты войны, но и опыт «нормальных» людей – солдат, докторов и медицинских сестер, чиновников и обычных граждан, оказавшихся в прифронтовых

зонах. Весь материал книги призван наполнить предложенную во введении теоретическую схему и уточнить ее.

Фаза «имперского вызова» была наиболее длительной: она ярко проявилась уже в августе 1914 г. и пришла к своему завершению в начальный период Гражданской войны, когда Советская Россия оказалась в границах XVI в. Уже в первые недели после начала войны Россия поспешила «заглушить националистические страсти», пообещав некую форму автономии полякам и армянам. В то же время обострялись этнические противоречия, ширилась шпиономания. В этих условиях, пишет Санборн, большинство активистов антиколониальных движений не решались открыто проповедовать сепаратизм. При этом усиливались имперские амбиции метрополии, мечтавшей вновь утвердиться в роли покровителя на Балканах, аннексировать Галицию, объединив таким образом земли Киевской Руси, втянуть в сферу своего влияния Персию и, наконец, получить под свой контроль черноморские проливы, что сделало бы Россию действительно глобальной державой. Однако эти империалистические мечты достигли своего пика как раз в тот момент, когда империя вступила в заключительную стадию кризиса. Восстание в Средней Азии в 1916 г. в полной мере продемонстрировало слабость имперской системы, не способной сохранять территориальную целостность, управлять экономикой военного времени, обеспечивать правосудие, порядок и стабильность [11, р. 245–246].

После Февральской революции стало казаться, что федерализм способен удовлетворить запросы местных элит без разрушения центрального государства. Однако летом 1917 г. борьба за национальные права выплеснулась наружу, похоронив политический авторитет партии кадетов. Впервые, благодаря социалистам, получившим позиции в Петросовете, антиколониальные лозунги зазвучали и в метрополии. Принцип «права наций на самоопределение», соединенный с крайне популярным лозунгом о «мире без аннексий и контрибуций», получил поддержку среди широких слоев русского населения, прежде не вовлеченного в имперский проект.

Ленин и большевики, пишет Санборн, активно использовали этот лозунг. Концепт «права наций на самоопределение», по словам автора, зажил своей жизнью и получил международное признание. В начале 1918 г. его в своих речах превозносили руководители Антанты, Германия настаивала на его соблюдении во время переговоров в Брест-Литовске, он стал неотъемлемой составной частью Версальской конференции и послевоенного миропорядка.

Несмотря на то что право силы в итоге каждый раз оказывалось важнее национальных прав, тем не менее риторика федерализма и права наций на самоопределение явились тем политическим наследием революционной эпохи, которого большевики не смогли бы избежать, даже если бы захотели, замечает Санборн [11, р. 246–247].

Вторая фаза процесса деколонизации – разрушение государства – началась, по мнению Санборна, с принятия закона о военном положении на западных рубежах Российской империи в августе 1914 г. «Линии власти» смешались, чиновники, в массе своей покидавшие западные губернии, получили теперь нового начальника – Ставку Верховного главнокомандования. Однако Ставка крайне медленно и неэффективно создавала административные органы управления, в результате чего в прифронтовых зонах возник вакуум власти. Процветала анархия, ширилась экономическая разруха. Несколько лучше положение было на оккупированных территориях – в Галиции и Восточной Анатолии, однако новые чиновники не обладали административным опытом, чаще всего это были фанатики и энтузиасты всех мастей. И так называемое «воссоединение» Галиции с Российской империей в 1914 – начале 1915 г. автор определяет как «неквалифицированное и сокрушительное поражение» [11, р. 248].

Процесс разрушения государства ускорился весной и летом 1915 г. во время отступления, причем проблемы управления, стоявшие сначала только перед западными губерниями, распространились и на страну в целом. Утрачивает свою символическую власть Николай II, а его чиновникам все с большим трудом удается исполнять свои обязанности. Таким образом, подводит итог Санборн, государственная власть находилась в кризисном состоянии задолго до Февральской революции.

Другим аспектом кризиса государственной власти в Российской империи было введение политических инноваций, направленных на мобилизацию государства и общества. В этот период на передний план выдвигаются новые администраторы – прогрессивные технократы. В книге рассматриваются две из тех проблем, которыми они занимались: эпидемии и нехватка рабочих рук. Все административные меры подразумевали усиление контроля и надзора и в конечном итоге – глубокое проникновение государства в жизнь своих граждан (подданных). Технократический авторитаризм, по выражению автора, сделался ведущим управленческим стилем и в гражданской, и в военной сфере [11, р. 248].

1917 год был решающим, переломным для фазы крушения государства. По мнению Санборна, революционный кризис был запущен в период восстания, начавшегося в 1916 г. в Средней Азии, которое оказалось более опасным, чем забастовки и погромы 1914–1915 гг. На первый план выдвинулись недовольство политическими институтами, в том числе управлявшими окраинами империи, и проблема права наций на самоопределение. Клонившийся к упадку режим прошел «точку невозврата» 2 / 15 марта 1917 г., когда Николай II отрекся от престола, пишет автор [11, р. 193]. Была разорвана связь между центральной и местной властью, причем разворачивавшиеся в масштабах всей страны процессы децентрализации и демократизации наиболее заметны были в институтах, ответственных за осуществление «легитимированного насилия»: полиции и армии. При этом местная власть в России 1917 г. оказалась слишком слаба и неэффективна чтобы восстановить общественный порядок, а знаменитый Приказ № 1 не сумел предоставить механизм, который заменил бы традиционные «узы авторитета и легитимности» в армии, разрушенные в течение нескольких недель [11, р. 197].

Когда ненасильственные политические методы (в том числе попытка созыва Учредительного собрания) оказались бессильны, Белое движение начало организовывать военное сопротивление большевистскому режиму на окраинах. Однако белые также не сумели создать эффективную систему управления, и результатом явился полномасштабный коллапс государства, развернувшийся в 1918 г.

Локомотивом этого процесса Санборн считает военные действия, причем независимо от того, приносили они победу или поражение. Военный успех влек за собой взятие в плен миллионов вражеских солдат, что накладывало на государство новое бремя. Более подробно он рассматривает последствия военного поражения, напоминая о великом отступлении 1915 г. и коллапсе июня 1917 – марта 1918 г. Уже в 1915 г. отступление решающим образом трансформировало социальную и политическую ткань империи. Пессимизм пришел на смену оптимизму, начались поиски виноватых, и антигерманские настроения быстро перешли в настроения антипридворные. Волны беженцев затопили русские города от Полтавы до Сахалина. Наконец, погромы иностранцев в Москве и забастовки в Центрально-Промышленном регионе России продемонстрировали, что «война пришла в дом». Безудержное дезертирство повергло в анархию Латвию и Украину, толкнуло

Корнилова на путь военного диктаторства и поставило революцию в зависимость от милости Германии. Во всех этих случаях, заключает Санборн, война сыграла центральную роль в политической и социальной истории страны [11, p. 250].

Важнейшим фактором коллапса государства стало насилие, как военное, так и криминальное, которое в условиях нараставшей экономической разрухи и ослабления институтов власти стало моделью социального поведения. Солдаты и гражданские лица, оказавшиеся в водовороте насилия, ожесточались и в конечном итоге становились «агентами имперского разрушения». И если в годы войны жестокость, как правило, приписывалась врагу (прежде всего Германии), то после ее окончания насилие вырвалось за рамки, которые налагали на него «нормы цивилизации». И красные, и белые прославляли террор, используя его для достижения своих политических целей, антибольшевистские силы на Украине устраивали массовые погромы еврейского населения, невероятную жестокость демонстрировал на Дальнем Востоке «кровавый барон» Унгерн-Штернберг. Вообще, замечает автор, появление в годы Гражданской войны подобных фигур, в том числе Нестора Махно и атамана Семенова, наглядно свидетельствует о коллапсе имперского государства [11, p. 252–253].

К этому моменту в полной мере развернулась третья фаза деколонизации – «социальная катастрофа», тесно связанная с коллапсом экономики и феноменом насильственных миграций населения. Социальные связи ослабли, а обеспечивавшие стабильность институты утратили свою силу в годы Первой мировой войны. Бедствия, голод, насилие стали причиной не только бегства населения из прифронтовых зон и голодающих городов, но и эмиграции. В результате исторических потрясений возникли крупные русские диаспоры в Стамбуле, Париже, Белграде, Харбине, Нью-Йорке и Буэнос-Айресе, заключает Дж. Санборн [11, p. 257].

Пожалуй, наиболее впечатляющие страницы книги Санборна посвящены событиям Гражданской войны на Украине в 1918 г., дающие яркое, предметное представление и о коллапсе государства, и о социальной катастрофе.

В статье Марко Буттино (Туринский ун-т) рассматривается совершенно другой регион – Средняя Азия, которую многие считают «внутренней» колонией Российской империи. Он также взял за основу своего исследования модель деколонизации и поставил целью показать «калейдоскоп локальных революций», начиная с Туркестанского восстания 1916 г. и заканчивая взятием большеви-

ками Хивы в августе 1920 г. [2]. М. Буттино последовательно описывает восстание, разразившееся летом 1916 г. в ответ на приказ о мобилизации, и его жестокое подавление, означавшее конец старых форм российского колониализма; «русскую революцию» в Ташкенте, начавшуюся с «бабьих бунтов» и завершившуюся захватом власти в сентябре революционным солдатским комитетом; провозглашение умеренными политическими силами мусульманской автономии в Коканде; «революции» армянской диаспоры, видевшей в русских защиту от мусульманства, и военнопленных (в основном австро-венгров), поддержавших большевиков в 1918–1919 гг., в том числе при взятии Коканда; восстание в 1918 г. русских колонистов-земледельцев против политики большевистского правительства в Ташкенте и одновременно против казахов, вымиравших в этот период от голода.

Характерной особенностью этих локальных «революций» являлось то, что многие их участники легко переходили на сторону «противника», если это им было выгодно, пишет М. Буттино [2, р. 121–122]. По мнению автора, в большинстве своем эти выступления представляли собой реакцию местного населения на «хаос, насилие и голод», так что их вполне можно интерпретировать как попытки восстановить порядок и защититься в ситуации, которая становилась все более угрожающей. В качестве наиболее яркого примера приводится басмаческое движение, направленное в первую очередь на получение контроля над территорией и ресурсами. Только в 1919 г. оно стало частью неудавшейся «антиколониальной революции», которую начали мусульманские коммунисты. В то же время главной целью большевистской революции в Туркестане являлось укрепление господствующих позиций русского колониального меньшинства, утверждает Буттино. В контексте Средней Азии, пишет он, большевистская революция на деле являлась колониальной контрреволюцией и препятствовала деколонизации.

В представленном спектре мнений и интерпретаций можно выделить целый ряд факторов и причин, которые привели к распаду Российской империи. Резюмируя итоги современных исследований этой проблемы, В. Кивельсон и Р. Суни пишут, что «коллапс царской России произошел не из-за национальных движений на периферии, а из-за прогрессирующего ослабления и разобщенности центра», присоединяясь в том числе к точке зрения нашего соотечественника А.И. Миллера. «Царизм не прошел проверку войной», – добавляют они, смещая таким образом фокус внимания с

проблемы национализма к таким факторам дезинтеграции, как утрата царским режимом легитимности в ходе войны, когда население, включая элиты, перестало его поддерживать [4, p. 266].

Список литературы

1. *Berger S., Miller A.* Introduction: Building nations in and with empires – a reassessment // *Nationalizing empires* / Ed. by Miller A., Berger S. – Budapest: CEU press, 2015. – P. 1–30.
2. *Buttino M.* Central Asia (1916–1920): A kaleidoscope of local revolutions and the building of Bolshevik order // *The empire and nationalism at war* / Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. – Bloomington: Slavica Publishers, 2014. – P. 109–136.
3. *Hagen M. von.* The entangled Eastern front in the First World War // *The empire and nationalism at war* / Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. – Bloomington: Slavica Publishers, 2014. – P. 9–48.
4. *Kivelson V.A., Suny R.G.* Russia's empires. – N.Y.: Oxford univ. press, 2017. – XXV, 420 p.
5. *Lieven D.* Empires and their core territories on the eve of 1914: A comment // *Nationalizing empires* / Ed. by Miller A., Berger S. – Budapest: CEU press, 2015. – P. 647–660.
6. *Lieven D.* The end of tsarist Russia: March to World War I and revolution. – N.Y.: Viking, 2015. – 448 p.
7. *Lohr E.* War nationalism // *The empire and nationalism at war* / Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. – Bloomington: Slavica Publishers, 2014. – P. 91–108.
8. *Miller A.* The role of the First World War in the competition between Ukrainian and All-Russian nationalism // *The empire and nationalism at war* / Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. – Bloomington: Slavica Publishers, 2014. – P. 73–90.
9. *Reynolds M.A.* Shattering empires: the clash and collapse of the Ottoman and Russian empires, 1908–1918. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2011. – XIV, 303 p.
10. *Rieber A.* The struggle for the Eurasian borderlands: From the rise of Early Modern empires to the end of the First World War. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2014. – X, 617 p.
11. *Sanborn J.* Imperial apocalypse: The Great war and the destruction of the Russian empire. – N.Y.; Oxford: Oxford univ. press, 2014. – XII, 287 p.
12. *Suny R.* Introduction // *The empire and nationalism at war* / Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. – Bloomington: Slavica Publishers, 2014. – P. 1–8.

Брофи Д.Дж.

**УЙГУРСКАЯ НАЦИЯ: РЕФОРМА И РЕВОЛЮЦИЯ
НА РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ
(Реферат)**

Brophy D.J.

**Uyghur nation: reform and revolution on the Russia–China
frontier. – Cambridge, Massachusetts; London, England:
Harvard univ. press, 2016. – 347 p.**

Монография Дэвида Джона Брофи, старшего преподавателя новейшей истории Китая в Университете Сиднея, представляет собой исследование современной истории тюркоязычных мусульман Синьцзяна – уйгуров. По словам самого автора, он попытался связать повествование о событиях по обе стороны российско-китайской границы в единый нарратив: это «история творческих ответов снизу на имперскую, национальную и революционную государственную политику, рассказанная людьми, жизни которых связаны не только с пограничными районами между Россией и Китаем, но и пересекаются с историей Османской империи» (с. 1).

Автор определяет место Синьцзяна в более широком контексте истории имперской и исламской реформы начала XX в., рассказывая об усилиях по мобилизации разрозненной диаспоры мусульман Синьцзяна после русской революции (с целью включения в революционный процесс). Брофи одновременно рассматривает три различные группы мусульман Синьцзяна: это кашгарцы, таранчи и дунгане. Его исследование раскрывает данные и предоставляет важные новые перспективы по крайней мере для трех раз-

личных областей исследования в период между 1880-ми и 1930-ми годами: история Синьцзяна, история среднеазиатских советских республик и изучение пограничных территорий.

В книге прослеживается появление новой риторики об уйгурской нации в советские 1920-е годы и ее трансляция на территорию Синьцзяна. Идея уйгурской нации связывает современных уйгуров с уйгурским народом, который занимал видное место в доисламской истории Центральной Азии, до исчезновения из исторических источников в XVI–XVII вв. Само появление уйгурской нации было новшеством для начала 1920-х годов, и значение этого понятия часто подвергалось сомнению, но к середине 1930-х годов уйгуры были официально признаны нацией как в Советском Союзе, так и в китайской провинции Синьцзян.

В то время как создание уйгурской нации принято рассматривать в рамках изучения советской национальной политики, с точки зрения автора, оно заслуживает рассмотрения в более широкой системе координат как одно из ряда радикальных национальных преобразований, произошедших во всем мире в первой половине XX в. И это начинание было весьма успешным. И все же, если судить с точки зрения тех устремлений, которые привели к этому преобразованию, с точки зрения того, смогли ли мусульмане Синьцзяна, став нацией, решить те политические и социальные проблемы, с которыми они столкнулись в Китае, – результаты были, в лучшем случае, спорными. По всем вопросам, с которыми столкнулись республики Средней Азии, у независимых наций, таких как узбеки и казахи, по крайней мере есть что-то, чем можно проиллюстрировать опыт раннего советского нациестроительства. Итоги уйгурского национального проекта были куда менее определенными.

Как отмечает автор, во многом благодаря продолжающемуся конфликту в Синьцзяне сегодня уйгуры известны гораздо лучше, чем тогда, когда он впервые начал свои исследования. Насчитывая около 10 млн человек, они составляют одну из крупнейших *minzu* (китайский термин для групп, не принадлежащих к этносу хань, раньше переводился как «национальность», сегодня чаще переводится как «этническая группа»). Их исторические претензии были частично удовлетворены созданием Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Менее известен тот факт, что довольно крупная уйгурская община проживает за западной границей Китая, на территории бывшей Российской империи – бывшего Советского Союза – со-

временных Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Насчитывая около 100 тыс. во времена русской революции, по размерам это эмигрантское сообщество всегда было незначительным по сравнению с уйгурами Синьцзяна. Они редко упоминаются в истории региона и на сегодняшний день остаются маргинальным сообществом (с. 2). Однако, являясь связующим звеном между синьцзянским, исламским и советским мирами, это сообщество имеет огромное значение для описываемых в книге событий.

Уйгуры проживают вдоль линии разлома, разделяющей Центральную Азию на две половины, обозначаемые в этой книге как Китайский и Русский Туркестан; история уйгуров аналогичным образом делится на две части. Автор отмечает давление, с которым столкнулись уйгуры, пытаясь вписать свою собственную историю в политические границы, проведенные вокруг них другими.

Его книга имеет простую структуру и состоит из введения, восьми глав, заключения, примечаний и библиографии. Повествование начинается с краткого обзора ранней истории уйгуров и Китайского Туркестана, переходит к влиянию русского, китайского и британского империализма в регионе, и, наконец, к советским проектам в Синьцзяне в контексте борьбы за власть местных мусульман и китайских командиров накануне создания КНР. В реферате основное внимание уделяется дореволюционному периоду.

Глава 1, «Народ и территория в Китайском Туркестане», описывает созданный в XX в. нарратив о «вечной», утраченной и вновь обретенной государственности уйгуров (с. 22). Этот дискурс об уйгурской нации опирается на богатое историческое и филологическое наследие, восходя к золотому веку уйгурской цивилизации и, следовательно, указывая на упадок, который привел сообщество уйгуров к состоянию раздробленности и колониальному угнетению. Между тем в действительности потомки населения Уйгурского каганата, вошедшего в состав Монгольской империи в эпоху Чингисхана, в настоящее время проживают на территории провинции Шэньси, в то время как население современного Синьцзяна формировалось в период войн в процессе распада Монгольской империи при Минах и вплоть до конца эпохи Цин, представляя собой субстрат тюркских племен различного происхождения.

Брофи рассматривает Синьцзян как один из договорных портов (т.е. открытый порт, в котором разрешалась торговля), аналогичный тем, которые существуют в системе, развивавшейся на восточном морском побережье Китая в эпоху Цин. (После первой «опиумной войны» 1840–1842 гг., согласно Нанкинскому договору

с Англией, Китай открывал пять портов – Шанхай, Гуанчжоу, Сямэнь, Фучжоу и Нинбо для торговли с Англией, до этого все порты были закрыты.) Благодаря такому подходу, ему удается избежать изолированного рассмотрения Синьцзяна, отношения к нему как к какой-то отличающейся от остальной части позднецинского Китая территории.

Глава 2, «Утверждение колониальной границы», посвящена периоду междоусобиц и войн второй половины XIX в., разворачивавшихся в контексте присоединения к России части Туркестана и установления ею протектората над Бухарой и Хивой. В результате купцы Синьцзяна восстановили прежний торговый путь с юга на север, главным предметом экспорта в Россию стал традиционный текстиль. Дипломатические дискуссии между Санкт-Петербургом и Пекином привели в результате к укреплению власти Цинского Китая и одновременно к упрочению позиций русских купцов в регионе.

К концу XIX в. связи провинциального Синьцзяна с Китаем улучшились незначительно, но связи с Россией быстро развивались. К 1888 г. Россия продлила свою Транскаспийскую железную дорогу в Бухару и Самарканд, а в 1899 г. железнодорожная линия соединила Ташкент и Андижан. В 1906 г. открытие Оренбургско-Ташкентской железной дороги обеспечило более прямую связь между Туркестаном и Россией. Тем временем началось строительство Транссибирской магистрали, которая в итоге включила трансманьчжурскую ветку в Пекин. И теперь попасть из столицы Китая в Кашгар быстрее всего можно было по российской железной дороге (с. 84). Торговцы, естественно, извлекли пользу из этих связей, которые укрепили позиции России как основного экспортного рынка для Синьцзяна. Даже китайские товары, отправляемые в Синьцзян, переправлялись теперь через Россию. Отвоевав отколовшийся было Синьцзян, империя Цин достигла определенной степени политической интеграции, но в социальном и экономическом плане ее мусульманская община продолжала смотреть на запад.

Не менее важным побочным эффектом строительства Российской империи было укрепление связей между мусульманскими общинами в Евразии. К северу от Синьцзяна большинство таранчинского населения превратилось теперь в русских подданных в Семиречье, образуя форпосты оседлой мусульманской жизни в традиционно кочевом казахском регионе. Торговые колонии России в Гулье и Тарбагатае, имевшие прямые связи через торговые

степные пути с центрами мусульманской интеллектуальной и социальной жизни, такими как Казань и Уфа, стали домом для татарских общин, которые оказывали влияние на весь российский Туркестан. Именно в конце XIX – начале XX в. более чем в любой другой момент своей истории Синьцзян был связан с миром российского ислама. В то же время развитие российских железных дорог и пароходного сообщения способствовало укреплению старых связей с Османской империей. Те из мусульман Синьцзяна, кто более всех выиграл от новых возможностей торговли с Россией (легко идентифицируемые по их русифицированным фамилиям) были также и теми, кто более всех жаждал развития связей с соперниками русского царя в Стамбуле (с. 85).

Глава 3 «Имперские и религиозные реформы – между Туркестаном и Турцией» содержит новую информацию о наличии прямых связей между Османской Турцией и преподавателями-джадидистами в Синьцзяне. Идея джадидизма – идеологии исламского модернизма – в Синьцзяне как четко определенного интеллектуального движения ставится автором под сомнение. Брофи иллюстрирует эту ситуацию через историю одного из кашгарских джадидистов, Абдулкадира Дамоллы (с. 109–112). Модернизация через реформу образования в Цинском Китае обычно изображается как образовательные реформы в западном стиле. Д. Брофи, однако, указывает, что грань между джадидизмом и библейскими и возрожденческими течениями ислама, циркулировавшими по территории Евразии в этот период, не была столь отчетливой, как это может показаться сегодня.

В тот период как в России, так и в Цинской империи происходили сдвиги в сторону введения конституционного правления, но процессы разворачивались в разных темпах по обе стороны границы. Первое десятилетие XX в. в Синьцзяне также было связано с новой эпохой реформ. По мнению автора, ранние попытки реформ в Синьцзяне провалились как из-за скептицизма и незаинтересованности, так и из-за откровенной оппозиции, и, в конце концов, ни одна из этих инициатив не привела к желаемым результатам (с. 112).

Позднецинская среда поместила местное исламское сообщество в некую парадоксальную ситуацию. С одной стороны, слабость цинской администрации в Синьцзяне, неотчетливые провинциальные границы и относительная незаинтересованность местных чиновников в вопросах религии создали здесь пространство, куда легко могли проникнуть культурные влияния из других

регионов исламского мира. Казалось, что Цинский Китай предлагал автономию, которая все еще ускользала от российских мусульман после 1905 г. Иными словами, в вопросах религии и образования здесь существовала полная свобода. Однако неправильно было бы ожидать, что местные мусульмане будут политизированы таким же образом и в той же степени, что и мусульмане России, и что они поспешат воспользоваться этой свободой, как надеялись татары или османские мусульмане.

Самоидентификация мусульман Синьцзяна в этот период имела свои особенности. Пересекая имперские границы, они успешно эксплуатировали представление о мусульманах Китая как об отдельной сущности. Так, в прошениях к султану кашгарцы, находящиеся в Стамбуле, объявляли себя принадлежащими к общине мусульман «китайского Туркестана», или просто Китая. Отсутствие формальных османско-цинских связей только усиливало побуждения мусульман считать себя представителями этой отдаленной и малоизвестной мусульманской общины. Таранчинцы в России существовали в иных политических и социальных условиях. Однако и здесь, по прошествии четверти века после миграции в Семиречье, было живо ощущение особой цинской мусульманской общности. Об этом говорит, например, смелое заявление Вали-бея о том, что он будет представлять интересы цинских эмигрантов в Думе. Но в Семиречье это понятие имело иное значение, нежели в Кашгаре. Для таранчинцев связь с Цин была наследием прошлого, а не описанием настоящего. Вали-бей апеллировал к исламскому сообществу цинского происхождения не с целью представить мусульман Китая миру, но с целью держать внешний мир в страхе (с. 113).

В главе 4 «Падение империи и пантюркистский разворот» отмечается, что если в предшествующий период политическая дискуссия была сформирована понятиями исламского сообщества и имперского подданства, то в годы после Синьхайской революции 1911–1912 гг. происходит кристаллизация новых расовых дискурсов о мусульманах Синьцзяна. Наряду с маньчжурами, монголами, тибетцами и китайцами мусульмане провозглашаются одной из пяти составных рас. Выдвигается лозунг гармоничного сосуществования пяти рас (*wuzu gonghe*), который не остался незамеченным мусульманами империи. Как китаеязычные мусульмане, так и кашгарцы пытаются использовать его в качестве основания для получения большей поддержки, или даже политической автономии (с. 114–115).

После краха Российской империи в ходе революции 1917 г. и последовавшей за ней Гражданской войны Синьцзян надолго становится ареной борьбы красной и белой дипломатии. Эта удаленная от форпостов российской социал-демократии китайская провинция была не только убежищем для жертв революции. Известия о событиях февраля и октября 1917 г. находили сочувственный отклик в некоторых ее частях. Малоизвестен факт, что первые публичные выступления в поддержку русской революции проходили не в космополитичном Шанхае или столице страны Пекине, а именно в портах Синьцзяна, где волнения революционного характера происходили в среде синьцзянских татар и русского сообщества (с. 150).

Последние главы книги подробно описывают работу уйгурских коммунистов в Синьцзяне и содержат истории мусульман Синьцзяна с советской стороны (таранчи) и в самом Синьцзяне (кашгари).

Вывод Брофи о том, что уйгурская идентичность является «палимпсестом исламских, тюркских и советских представлений о национальной истории и идентичности» (с. 274), противоречит нынешнему китайскому подходу к национальной идентичности применительно к уйгурам и другим этническим группам.

Если уйгуров можно рассматривать как национальное сообщество, чья идентичность была сформирована в ответ на конкретные исторические процессы, а не просто как изолированное единое целое, не связанное с существующими государственными структурами или образованиями (каким, по утверждению Брофи, была и до сих пор, с позиции Китая, остается китайская диаспора), то уйгурский «национализм» не может быть той угрозой, которую некоторые в нем видят.

Таким образом, исследование Брофи – это не просто изучение прошлого, но также предложение пути выхода из нынешней сложной ситуации в Китае и Синьцзяне.

Д.Д. Трегубова

**ИМПЕРСКИЙ ПОВОРОТ
В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ РОССИИ:
СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ**

Сборник обзоров и рефератов

Оформление обложки И.А. Михеев
Техническое редактирование
и компьютерная верстка К.Л. Синякова
Корректоры А.А. Чукаева, М.П. Крыжановская

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 25 / XII – 2019 г.
Формат 60х84/16 Бум. офсетная № 1 Печать офсетная
Усл. печ. л. 13,75 Уч.-изд. л. 9,5
Тираж 300 (1–100 экз. – 1-й завод) Заказ № 169

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения
информационных изданий
Тел./Факс: (925) 517-36-91
E-mail: inion@bk.ru**

Отпечатано по гранкам ИНИОН РАН
в ООО «Амирит»,
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 88 литера У
Тел.: 8-800-700-86-33 / (845-2)24-86-33